

АЛЕКСАНДР КЕРДАН

Урал-
БАТЮШКА



Роман
с фамилией

Урал-батюшка

Александр Кердан
Роман с фамилией

«ВЕЧЕ»

2019

Кердан А. Б.

Роман с фамилией / А. Б. Кердан — «ВЕЧЕ», 2019 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-8032-4

В основу произведения известного уральского писателя Александра Кердана положена история одной из уральских семей, описанная с древних времен и до наших дней. Окунаясь в глубь веков и событий, писатель заглядывает то в Римскую империю I века до нашей эры, то в Испанию и Иерусалим эпохи Первого крестового похода, то на Украину времен Руины (XVII в.). Соединяя историю семьи с мировой историей, автор пытается постичь и осмыслить жизнь с позиций людей разных эпох, сформулировать вечные нравственные ценности человечества, такие как добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство, родина и чужбина, призвание и талант, смерть и бессмертие.

ISBN 978-5-4484-8032-4

© Кердан А. Б., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Роман для избранных	6
От первого лица	7
Часть первая	14
Глава первая	14
1	14
2	15
3	18
4	21
5	23
6	25
Глава вторая	27
1	27
2	28
3	30
4	33
5	35
6	37
Глава третья	42
1	42
2	44
3	47
4	49
5	52
6	56
Глава четвёртая	59
1	59
2	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Александр Борисович Кердан

Роман с фамилией

© Кердан А.Б., 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

Роман для избранных

Мы познакомились с Александром лет двадцать назад в поезде по дороге на очередной писательский пленум. Такие поездки очень много дают нам, жителям окраин: именно во время таких встреч появляется возможность поговорить по душам, сблизиться, обменяться новыми книгами.

Александр Кердан вначале представился мне как один из ярких, самобытных поэтов нового времени. Я сразу отметил для себя, что он, в прошлом – армейский офицер, сумел сохранить в себе свежесть мыслей и чистоту чувств. А это в суровых ратных буднях дорогого стоит!

Затем, уже как прозаик, я порадовался и высоко оценил его романы, посвященные истории освоения Камчатки и Русской Америки. Эти романы, объединённые общим названием «Земля российского владения», показались мне замечательными и широтой охвата временных пластов, и своей сюжетной интригой, и глубиной проникновения в тему, но главное тем, что несли в себе очень светлый авторский взгляд на события далёкого прошлого. Такого подхода к героическому и жертвенному, и зачастую неблагоприятному делу строительства великой империи мне встречать ещё не доводилось.

Как ни покажется странным, но события вроде бы уже канувшие в Лету оказываются очень актуальны и чрезвычайно поучительны сегодня. Корни многих современных конфликтов заложены именно там. Исторические параллели и совпадения – не просто параллели и совпадения, а последствия давно минувших дел... Это мало кто из современников понимает. И это очень тонко уловил Александр Кердан, сперва в романах, посвященных освоению Камчатки, Алеутских островов и Русской Америки, а теперь и в своём новом романе.

«Роман с фамилией» меня сразу затянул. Я с большим интересом, в течение нескольких вечеров прочитал его, отметив для себя, что давно не читал ничего подобного, что эта книга – большая удача автора, это совершенно иное историческое полотно, намного выше, значительнее, талантливее всего, что сделано Александром Керданом до сих пор.

Я думаю, что здесь он нащупал редкую тропу, ухватил ту золотую нить подлинного ощущения многоликой человеческой истории, которая редко даётся в руки писателю.

В чём секрет романа, каждый из читателей, а они у него, вне всякого сомнения, будут, решит сам для себя. Мне же представляется уникальной и блестяще реализованной идея соединения истории семьи автора с мировой историей, успешной видится попытка – в заданных исторических реалиях, с позиции человека той или иной эпохи постичь метафизику бытия, сформулировать основные нравственные ценности человечества, такие, как добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство, родина и чужбина, призвание и талант, смерть и бессмертие.

Эти ценности не утратили своего мировоззренческого, судьбоносного значения и для нас – современников автора.

Николай Лугинов, народный писатель Якутии, сопредседатель Союза писателей России

От первого лица

«Фамилии с потолка не берутся», – любил повторять мой дед Иван.

Фамилия, доставшаяся мне не с потолка, а от деда Ивана, была непонятна и заковыриста. Откуда взялась?

Мой дед Иван в столыпинскую реформу вместе с родителями переехал на Южный Урал из полтавского села с «красивым» названием Кобеляки. Это село до сих пор стоит на слиянии рек Ворскла и Кобелячка, теперь уже в «незалежной» Украине. Однако в самой фамилии ничего украинского, малоросского не обнаруживалось... То ли дело – Дуля, Небаба, Перебийнос, Сучак, Недайборщ... А тут – Кердан!

В Таращанском уезде, что неподалёку от Киева, с восемнадцатого столетия известно большое село с названием Керданы. Может, кто-то из пращуров был его основателем? Но этимологию фамилии это всё равно не объясняет. Что за корни: «кер» и «дан»? Может, произошло родовое прозвище от «скирды», ведь дед и прадед были крестьянами? А может, от «кордона»? Если верить семейной легенде, предки предков вышли из Запорожской сечи. А казаки всегда селились на границе, у края, который и самой Украине имя дал...

Мой друг, поэт и антрополог Салим Фатыхов из Челябинска, нашёл в одной летописи упоминание о некоем аланском князе Кердане, который во времена оны пришёл на Хортицу со своими воинами и стал одним из основателей Запорожской сечи.

– Вероятно, в основе твоей редкой и древней фамилии лежит имя далёкого прародителя, выделявшегося среди сородичей мужеством, являвшегося предводителем своего племени, – предположил он. – Имя это – Кер или Гер – из поколения в поколение хранилось, оберегалось, символизировало социальный статус обладателя. Да что там! Сам Геродот мог получить своё имя в соответствии с этой священной традицией. Возможно, две с половиной тысячи лет назад кто-то из твоих пращуров был вождем или царским отпрыском знатного эллинского дома гераклидов. Если это так, то твоими древними предками являлись Алкей, сын немифического Геракла, Сард, правнук Алкея, внук Бела, сын Нина, или же Кандавл... Все они относятся к лидийской прагреческой этнической ветви, которую поработили персы в пятом веке до нашей эры, разрушив державу Креза. Родоначальниками твоей фамилии могли быть выходцы из Персии, потомки великого царя Кира, который вёл войны с греками, мидянами, ассирийцами, арамеями...

Рассуждения Салима о столь благородном происхождении моих пращуров позабавили:

– Да какие вожди, цари, герои? Предки мои – от сохи, обычные крестьяне.

– А ты не спеши с выводами. Кто знает, какие тайны скрывают столетия? Возможно, первоначально и фамилия твоя звучала иначе. Скажем, Кирдан?

– Это вполне вероятно.

– Тогда она могла быть самоназванием рода, желающего подчеркнуть своё этническое происхождение. Допустим, её придумали жители города Кирены. Впрочем, возможно и обратное: сама фамилия произошла от места обитания. Например, твои предки могли жить в городе Кардио, который находился за пределами Геллеспонта или на греческом острове Керкиру. Ты только прислушайся, какая песня звучит в твоей родове! Санскритское «кер», означающее «камень, земля, корень», это праформа русского слова «герой» и европейских титулов: «герцог», «герольд»...

– Ну, а «дан» откуда взялось?

– Думаю, это наследие древнешумерского «тан», означавшего «небо».

– Выходит, в имени моём – земля и небо...

– Ну, что-то вроде того... – согласился Салим.

И хотя в родственные связи с шумерами, персами, греками, мидийцами и прочими древними народами верилось с трудом, разговор с Салимом подтолкнул меня к новым поискам.

В Интернете обнаружилось ещё несколько моих однофамильцев из разных стран: французский футболист Марсель, испанский теннисист Альварес, заместитель министра нефти и газа Ирана по имени Али. Упоминались и древнеарабский философ Кердан, и даже мифический Кирдан-Корабел – герой эльфийских хроник у одного из последователей Толкина... Наконец, отыскался целый графский род из окрестностей Барселоны, среди отпрысков которого были и испанские маршалы, и епископы, и даже королевские бастарды...

Все эти неожиданные однофамильцы и география их проживания ещё больше сбивали с толку. А может, Салим прав, и наделение людей той или иной фамилией имеет некий вещий смысл, уходящий корнями в глубокую древность? Не зря же мой дед-простолюдин так любил свою присказку! Наверное, фамилия и впрямь не берётся с потолка, а самым тесным образом связана не только с судьбой рода, но и с исторической памятью людей, некогда носивших её, ибо так или иначе она аккумулирует в себе опыт предшествующих поколений.

Может, вовсе не случайно среди моих пращуров – тягловых землепашцев и хлеборобов – были строители церквей, кадровые военные, учёные, инженеры, учителя, врачи?... Судьба разбросала сородичей по всей земле: Россия, Мексика, США, Италия, Украина, Узбекистан, словно подтверждая, что мир человеческий велик и мал одновременно, что всё в нём взаимосвязано и взаимообусловлено, а прошлое, настоящее и будущее неразделимы.

Значит, вовсе не надо изобретать машину времени, чтобы узнать, что случилось задолго до моего рождения. Надо только прислушаться к голосу души, довериться памяти сердца и в луче тревожного лунного света отдаться на волю снов сознания, уносящих меня, подобно героям Марселя Пруста и Джека Лондона, в путешествие по реке времени, в глубины мироздания, к истокам моей загадочной родовой...

* * *

– Ты, Васька, шибко нос не задирай... – наказывала бабушка Ефросинья Павловна своему четвёртому сыну и моему дражайшему дяде Василию Ивановичу Кердану, только что с отличием окончившему Челябинское военное автомобильное училище.

В нашем шахтёрском городке Коркино, что в двадцати пяти километрах южнее областного центра, они сидели на завалинке дедовского «насыпного» дома, в три окна взирающего на перекрёсток «бунтарской» улицы Степана Разина с «географической» улицей Западной.

На дворе стоял 1957-й. На дяде слегка топорщился парадный, ещё не обмятый, двубортный «жуковский» мундир с тусклыми латунными пуговицами и переливающимися золотом погонами. На правой стороне груди «бычий глаз» – знак об окончании среднего военного учебного заведения. На погонах – сбывшаяся курсантская мечта: две маленькие, но такие ослепительные лейтенантские звёздочки. Завершали амуницию синие габардиновые галифе с красным кантом, хромовые сапоги, надраенные до зеркального блеска, офицерская фуражка с чёрным околышем и краснозвёздной кокардой... Дяде есть от чего загордиться. На кривых улочках «старого» Коркино, где жмутся друг к другу, как кутята, низкорослые хибары с маленькими, подслеповатыми окнами, у жителей основной наряд – фуфайка да стоптанные башмаки, а то и обычные калоши...

Но бабушка – непреклонна и строга.

– Ты, Васька, шибко нос не задирай... – многозначительно ткнула она в пространство указательным пальцем с заскорузлым, надтреснутым ногтем. – Твой батька тоже не из простых – ехрейтор конной разведки...

Василий Иванович хмыкнул, но смолчал. Его батька и мой дед Иван Яковлевич Кердан в Первую мировую и впрямь сделал карьеру – дослужился до ефрейтора. И в словах Ефроси-

нии Павловны никакой иронии нет. Пехотный полк образца девятьсот четырнадцатого года – это несколько тысяч человек, а во взводе конной разведки – всего двадцать сабель, и среди этих отборных кавалеристов звание ефрейтора присваивалось лучшему. Так что Ефросинья Павловна права: далеко новоиспечённому «летёхе» до фронтового героического разведчика!

Дед Иван был и впрямь «не из простых»: участник трёх войн, пахарь и каменщик, плотник и столяр, стекольник и сапожник, словом – мастер на все руки, к тому же – весельчак и балагур, игравший на нескольких музыкальных инструментах. Чтобы послушать его озорные частушки, прибаутки и затейливые балалаечные коленца, знакомые, возвращаясь с ярмарки, делали кругалы вёрст по двадцать. Он и детей своих выучил игре на гитаре, мандолине, балалайке, домбре...

Узнать деда я не успел – он умер, когда мне и года не было. Причина скоротечной болезни простая – съездил на рыбалку на речку Течу, что берёт начало из озёра, возле «почтового ящика Маяк» – комбината по изготовлению ядерного топлива в городе Озёрске Челябинской области. В 1957 году там произошла крупная авария, а попросту – взрыв и выброс «секретной» в ту пору радиации. Об этом простым людям, понятно, ничего не сообщили...

Только в конце шестидесятых поставили возле Течи знаки радиационной опасности – жёлтые треугольники с чёрными, сходящимися к центру сегментами и повесили таблички, предупреждающие о запрете ловли рыбы и купания. Я видел эти отпугивающие знаки много раз на трассе Челябинск – Свердловск.

Но и без них южноуральцы давно уже не ловят расплодившихся, весёлых пескарей в отравленной речке, берега которой буйно заросли красноталом, а водители, оказавшись поблизости, жмут на газ, стараются поскорее уехать прочь.

...Мама рассказывала, что дед, незадолго до смерти, взял меня на руки и сказал печально: «Сашка, ты ж меня помнить не будешь...»

Я в самом деле не помню его. Разве что неведомым образом сохранилось ощущение от прикосновения его жёсткой, как сапожническая дратва, щетины, такой же седой, как та, что теперь растёт у меня...

* * *

Вглядываюсь в фотографию деда Ивана. Силюсь вспомнить его живым. Не получается. А вот дедушкиного старшего брата – Антона Яковлевича помню, хотя видел его лишь однажды, когда мне было чуть больше четырёх.

...Первомай шестьдесят первого выдался на Южном Урале тёплым и солнечным. С раннего утра в воздухе витали, перемешиваясь друг с другом, запахи цветущих яблонь, угольной пыли от недалёкого разреза и берёзового дыма из труб частного сектора – хозяйки повсюду топили печки, готовя праздничное угощение.

Мы с мамой отправились навестить родственников. Они жили неподалёку от дедовского дома. По крестьянской привычке, оставшейся с хуторских времён, нарочно так и строились, чтобы быть поближе к родне.

Антон Яковлевич, сухонький старичок в серой, потрепанной фуфайке, надетой на голое тело, сидел на завалинке своей насыпной хибары и курил «козью ножку», скрученную из обрывка старой газеты. На скуластом, малоподвижном лице его выделялись неожиданно живые, кажущиеся чёрными глаза с хитроватым прищуром и топорщились лихие «будённовские» усы, а реденькие седые волосы, напротив, казались прилизанными. Широленные солдатские галифе были заправлены в шерстяные носки грубой вязки, надетые явно не по погоде. Самодельные тапки из толстой, блестящей, как антрацит, кожи как будто служили наглядной демонстрацией для потенциальных покупателей. Но интерес у меня вызвали вовсе не тапки, а висящие на фуфайке в ряд четыре Георгиевских креста...

Мама поздоровалась с Антоном Яковлевичем и легонько подтолкнула меня к нему. Я, продолжая пялиться на кресты, осторожно приблизился и как можно громче и чётче сказал:

– Здравствуйте, дедушка!

– Здоровеньки булы, родственнички! – проскрипел он, как не смазанная дверь, глубоко затянулся самосадом и погладил меня по голове. Рука у Антона Яковлевича, с виду худая, жилистая, оказалась тяжёлой и как будто придавила меня к земле. От неё пахло табаком, сапожничьим варом и кожей.

Распахнулась калитка. Выглянула баба Маня – жена Антона Яковлевича, рыхлая, необъятных размеров женщина без возраста, в выцветшем ситцевом платье и такой же косынке, завязанной по-казацки – узлом на лбу. Она приветливо кивнула маме и тут же слезливо, с каким-то непонятным надрывом заныла:

– Тоша, сколько раз повторять: сыми кресты, сыми... Посодют...

– Не посодют, – выпуская сизые клубы едкого дыма, хмуро возразил Антон Яковлевич.

Свои кресты он получил в Первую мировую и выслужился из нижних чинов в казацки офицеры – не припомню только: то ли в хорунжие, то ли в сотники, а может быть, даже и в подъесаулы... Фотография его «при погонах» не сохранилась, а спросить о чине теперь не у кого: нет в живых ни самого Антона Яковлевича, ни моей мамы...

Однако остался в памяти её рассказ, что в Гражданскую воевал дядька Антон сначала за белых, а в конце восемнадцатого года прямо на поле боя, совсем как в кино, встретился он с моим дедом, который и переманил его со всем эскадроном к чапаевцам, в кавалерийский полк имени Степана Разина. Так что Гражданскую войну закончил Антон Яковлевич уже красным командиром.

Был ли он таким фартовым или просто умело держал нос по ветру, но репрессии тридцатых годов не коснулись ни самого Антона Яковлевича, ни его семьи. Перед самым раскулачиванием он быстренько распродал своё большое хозяйство, паровую мельницу и скот, рассчитал наёмных работников и уехал из хутора Николаевки на Кубань. Там и переждал лихие времена и только в конце пятидесятых вернулся на Урал. Но и здесь почему-то задержался недолго, снова переехал, на этот раз в Ростовскую область. Ушёл из жизни он в середине семидесятых, почти столетним старцем, намного пережив и моего деда, и бабу Маню, и даже собственных детей...

Мой дед Иван в тридцатом не последовал примеру Антона Яковлевича, остался на хуторе, хотя о грядущем раскулачивании и необходимости поскорее избавляться от «частной собственности» его заблаговременно предупреждал шурин – бабушкин младший брат Трофим Павлович Возилов.

* * *

Возилы – выходцы из Могилёвской губернии, из городка Пропойска, который в сорок пятом переименовали в Славгород, дабы стрелковую дивизию, отличившуюся во время знаменитой операции «Багратион» и заслужившую право получить почётное наименование в честь освобождённого города, не называть гвардейской Пропойской...

В этом самом Пропойске в середине девятнадцатого века бабушкин дед Федот, мещанин, по прозвищу Возило работал перевозчиком на реке Сож. Сначала у него была простая лодка, потом он построил паром. Дела пошли так успешно, что он смог скопить денег и выкупить у местного помещика свою невесту – крепостную девку Степаниду. У них родилось трое детей, из которых до взрослых лет дожил только Павел Федотович – мой прадед. Перед Первой мировой Возилы, так же как Керданы, перебрались на Южный Урал, в соседнее с хутором Николаевкой село Кислянку Челябинского уезда Оренбургской области¹.

¹ В середине XX века Кислянка отошла к Целинному району Курганской области.

Павел Федотович к тому времени был уже женат на Марии, моей прабабушке, и занимался строительством церквей. Одна из них, спроектированная и возведённая под его началом, стояла в центре Кислянки. Она была построена без единого гвоздя и так искусно, что не нуждалась в специальном отоплении – тепло в ней и в зимние холода сохранялось за счёт особой вентиляции воздуха, поступающего из подвалов, таких вместительных, что по ним можно было проехать верхом на лошади. Звон колоколов, по воспоминаниям старожилов, был слышен на много вёрст окрест. Когда же в тридцать шестом году пришло распоряжение разрушить церковь, то даже тракторами не сразу смогли растащить её бревна...

Но это случилось много позднее. А в начале века первые жители Кислянки – переселенцы из Белоруссии: Возиловы, Валетовы, Халуга, Киселевы, Куцабовы, Буренковы на берегу речки Чёрной вырубали берёзовые колки, рыли колодцы, строили саманные домики и землянки, сеяли рожь, пшеницу, овес, выращивали картофель и, как было сказано в Святом Писании, плодились и размножались...

Вскоре после переезда на Урал Павел Федотович Возилов овдовел и уже через год привёл в дом молодую жену Анастасию. Его пятерых детей она, подобно злобной мачехе из сказки, сразу невзлюбила: шпыняла и придиралась по каждому пустяку. А когда появилась своя дочь Александра, все заботы о младших братьях Петре и Трофиме, хлопоты по хозяйству мачеха и вовсе переложила на падчериц – мою будущую бабушку Фросю и её сестёр: Христину и Фёклу. Особенно тяжело Фросе пришлось, когда сёстры вышли замуж и переехали жить к своим мужьям: Христина – к Евдокиму Долданову в село Чудиново, а Фёкла – к Алексею Комиссарову в Челябинск. Павел Федотович много ездил по уезду, и Фрося оставалась единственной защитой младшим братьям. Она, по сути, и заменила им мать.

Судьбы у бабушкиных братьев и сестёр в дальнейшем сложились по-разному.

Мамина крёстная – тётка Христина, в честь которой маму и назвали, прожила долгую жизнь, но очень трудную, изобилующую скорбями и болезнями. Осенью сорок второго она получила похоронки сразу на двух сыновей: Константина и Василия. Один из них был лётчиком, другой – танкистом, а погибли в один день. Христина Павловна от горя ослепла, так, незрячей, и доживала свой долгий век на попечении своей младшей дочери Клавдии, работавшей завучем в одной из коркинских школ.

Вторая бабушкина сестра – Фёкла умерла в тридцатилетнем возрасте от какой-то скоротечной хвори. Её пятеро детей выросли с мачехой, и о судьбе их долгое время ничего не было известно. Только в девяностых годах прошлого века моя мама смогла разыскать в белорусском Бресте одну из дочерей Фёклы – свою двоюродную сестру Анну Деркач и переписывалась с ней вплоть до своего ухода.

Бабушкин брат Пётр ещё совсем юным отправился на заработки в Среднюю Азию, где прокладывал первые железные дороги. В Чимкенте он и обосновался навсегда: построил дом, вырастил троих детей и благополучно дожил до девяноста лет.

А самому младшему – Трофиму выпала военная планида. В двадцать четвёртом он окончил курсы красных командиров и довольно успешно продвигался по партийной линии и как-то не особо якшался с деревенской роднёй. Но в тридцатом, несомненно рискуя карьерой, всё же приехал в Николаевку и предупредил родственников о грядущей коллективизации, советовал поскорее всё имущество распродавать.

Мой дед, как известно, не послушался шурина и даже рассердился на него. После отъезда гостя выговаривал бабушке:

– Хорошо братцу твоему рассуждать: у него ни ребёнка, ни кутёнка, а у меня пятеро по лавкам, и все есть просят... Тоже удумал советовать – продай, уезжай... А куда? Кому мы нужны? – Он окинул взглядом подворье. – Да и рассуди, мать, какие мы кулаки? Сами ведь из батраков вышли. Богатства такого, как у брата Антона, вовек не видывали, сезонных

работников с семнадцатого года не нанимали да и земли осталось всего шестнадцать десятин, лошадь да две коровы...

Бабушка кивнула, дескать, всё оно так, а дед продолжал вслух рассуждать:

– Опять же, и это хозяйство не бросишь! Жалко! Всё ведь своим горбом нажито!

– Ладно, Ваня, – подала голос бабушка, – если ты так решил, остаёмся! На всё воля Божья... Авось с малыми детьми не тронут...

Плохо понимала бабушка законы новой жизни. Тронули! Сослали на поселение в село Малый Нарыс Уватского района Омской области, что затерялось в дикой югорской тайге, вёрст на сто пятьдесят севернее Тобольска.

Связь с Трофимом Павловичем Возиловым с той поры по понятным причинам оборвалась. Только в середине пятидесятых, после смерти Сталина, мои родственники и узнали, что Великую Отечественную войну Трофим Павлович окончил подполковником, лектором политотдела гвардейской армии. В пятидесятые годы, уже полковником, он преподавал в Военно-политической академии имени В.И. Ленина, на том самом факультете, на котором сорок лет спустя довелось учиться мне.

Среди родни, насколько я помню, дядя Троша, Трофим Павлович, благодаря то ли его воинским заслугам и положению, то ли доброму нраву и рассудительности всегда пользовался непререкаемым авторитетом. И даже имя его произносилось с придыханием.

Трофима Павловича, так же как и дядьку Антона, я видел всего раз. Эта памятная встреча случилась во время нашей с мамой поездки в Москву, за год до того, как мне пойти в школу.

* * *

...Дом Возиловых в подмосковном Домодедове мы отыскивали не сразу. Долго блуждали по дачному посёлку среди типовых столичных дач, пока наконец не набрали на него.

Показавшийся мне огромным, особняк, рубленый из вековых сосен, стоял на высоком каменном цоколе и был окружён забором из штaketника. Из-за него мы с опаской оглядели просторный двор с вытоптанной в центре травой и собачьей будкой у забора – вдруг да выскочит собака. Но собаки не было в будке, и, очевидно, уже давно: обрывок цепи у будки проржавел и пророс травой.

В глубине двора стоял деревянный гараж на две машины. Его ворота, обращённые к нам, были распахнуты. Одно место в гараже пустовало, на втором стояла новенькая, двадцать первая «Волга» серого цвета. В моторе копался молодой мужчина, в узких, по-стиляжьи укороченных брюках и модной, клетчатой рубашке.

Мама отворила калитку. Мы вошли и поздоровались.

Мужчина обернулся к нам и, не ответив на приветствие, недовольно спросил:

– Вам кого?

Мама назвала себя, спросила, дома ли Трофим Павлович.

Молодой человек оказался маминым двоюродным братом Володи. Мне показалось, что он не рад нам, и это меня удивило: в нашем маленьком городке гостей всегда встречали радушно.

После, повзрослев, я научился понимать москвичей, чьи дома-квартиры в советское да и постсоветское время служили наподобие «караван-сараев», где едва ли не каждую неделю гостили какие-нибудь близкие или дальние родственники, знакомые, сослуживцы, приятели и другие неожиданные гости... Но в ту пору меня, мальчишку, задело, что Володя даже не попытался скрыть своего недовольства. Захотелось развернуться и уйти, но мама крепко держала меня за руку.

– Отец! – крикнул Володя. – К тебе пришли!

На пороге появился высокий, статный, с неестественно прямой спиной старик в защитной рубашке без погон и широких домашних брюках, лицом похожий на мою маму: высокий лоб и брови вразлёт, глаза – голубые, добрые. Следом за дядей Трошей вышли его жена, в китайском халате с крупными ярко-красными цветами на жёлтом поле, и младший сын Леонид в такой же клетчатой рубашке, как у Володи. Только у Леонида вместо правой кисти был чёрный протез. От мамы я уже знал, что Леонид, ещё мальчишкой, нашёл гранату, оставшуюся в Подмосковье после войны. Граната взорвалась. Леонид от осколков чуть не погиб. Выжил, но потерял руку. Он, несмотря на своё увечье, оказался улыбчивым и доброжелательным.

От его открытой улыбки и ещё от того, что Трофим Павлович с неподдельной радостью обнял маму, а мне, как взрослому, пожал руку, первое неприятное ощущение быстро улетучилось.

Трофим Павлович тут же повёл нас на экскурсию по своим владениям: огороду, яблоневому саду и примыкающему к нему сосновому бору.

– Целый гектар леса, – со значением и не без гордости сообщил он маме.

Пахло нагретой хвоей и живицей. Мачтовые сосны, светясь на солнце золотистой корой, весело покачивали над нами могучими кронами.

Ещё мне запомнилась большая гостиная с блестящим самоваром в центре круглого стола, накрытого бархатной скатертью вишнёвого цвета, с толстыми кистями и бахромой по краям, старинные немецкие комоды с резьбой и стрельчатыми, гранёными стёклами на дверцах.

Мы пили чай из стаканов в потемневших серебряных подстаканниках с узорчатым орнаментом, копирующим трёх богатырей с картины Васнецова. Перед нами стояли хрустальные блюдечки с душистым крыжовниковым вареньем золотисто-зелёного цвета. Каждая ягодка при надкусывании взрывалась во рту, наполняя его кисловато-сладким сиропом. Очень вкусно! И чай, необычно насыщенный, настоящий на травах, обжигал губы. Трофим Павлович, его жена и моя мама вели тихий, неспешный разговор, изредка поглядывая на меня.

Трофим Павлович как будто между делом спросил, умею ли я читать и считать.

– Умею, – заверил я и тут же получил задание решить несложную арифметическую задачку, с которой довольно быстро справился. Трофим Павлович поинтересовался, знаю ли я наизусть какие-нибудь стихи, и я громко и без запинки прочитал лермонтовское «Бородино».

– Молодец, – похвалил он, – за знание классики ты заслуживаешь поощрение. Проси, чего хочешь?

Я потупился, не зная, что сказать.

– Дядя Троша, покажите, пожалуйста, Саше ваши ордена, – пришла мне на выручку мама.

Трофим Павлович принёс из кабинета резную деревянную шкатулку, доверху полную наград: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны двух степеней, орден Красной Звезды, медали...

Названия орденов мне тогда были неизвестны, я восстановил их позже, по фотографии Трофима Павловича, на которой он запечатлён в парадном мундире. Но ещё тогда, в детстве, держа его награды на ладошке и внимательно рассматривая их, хорошо запомнил «тяжесть» орденов и краски разноцветной эмали.

Напоследок Трофим Павлович спросил меня, кем я хочу стать.

– Офицером, как дядя Вася, как вы... – смущаясь, ответил я.

– Будешь! – предрёк Трофим Павлович и добавил неожиданно: – А не поступишь в военное, иди на философский...

Часть первая

Философ

Глава первая

1

Я – Кердан, вольноотпущенник Тиберия Клавдия Нерона, зятя всемогущего и богоподобного принцепса Октавиана Августа и несчастного мужа его беспутной дочери Юлии, да простит мне могущественный покровитель моего народа Горомаз, почитающийся здесь за Юпитера, такие слова.

Будь я рождён сервусом – рабом, будь рабами мои предки, я предпочёл бы откусить себе язык, только бы не произнести вслух хулу на наипрекраснейшую и наименее полезную из женщин, к тому же много лет являвшуюся моей госпожой. Но я и мои родители и родители моих родителей были свободными. В моём отечестве, в Парфянском царстве, княжеский род наш, ведущий начало с эпохи дахов и первой династии Аршакидов, считался одним из самых знатных и почитаемых, был прославлен своими воинами, царедворцами и мыслителями.

Я рос во дворце моего отца фратарака Сасана в роскоши и любви, под неусыпным присмотром преданных слуг и мудрых наставников. Не всякий выходец из римского всаднического сословия и даже сын сенатора мог бы похвастаться такими учителями, какие занимались со мной.

Раб-афинянин учил меня греческому языку, читал мне Гомера, Гесиода, Менандра, разучивал со мной басни Эзопа, комедии Аристофана и трагедии Еврипида и Софокла. Грек с Крита, хромым и одноглазым, как циклоп, давал уроки истории и географии по Страбону, философии – по Сократу, Платону и Аристотелю. Пленный латинянин практиковал меня в языке наших извечных врагов – римлян и познакомил с «Историей Рима от основания Города» Тита Ливия, с «Природой вещей» Тита Лукреция Кара и с «Буколиками» Публия Вергилия Марона. Иудей из города пальм – Иерихона давал мне уроки арамейского языка, раскрывал тайны Танаха и Моисеевы законы. Астролог из Египта учил распознавать звёзды на небе и их влияние на судьбу человека. Главный телохранитель моего отца Артаксий с раннего детства обучал меня сражаться на деревянных мечях, быть ловким и выносливым, а когда я подрос, занимался со мной верховой ездой, тренировал в знаменитом «парфянском выстреле» – умении пускать стрелы из лука, почти не целясь, на всём скаку, круто развернувшись в седле в сторону преследующего противника...

Когда мне исполнилось двенадцать всен, отец подарил мне коня. Я запомнил этот день как самый счастливый в моём отрочестве.

Породистый, тонконогий жеребец золотистого окраса, с высоко поставленной шеей и горбоносой мордой, с выпуклым лбом, обликом своим напоминал гепарда из зверинца моего отца. Два конюха придерживали жеребца за поводья. По его тонкой, прозрачной коже, с просвечивающей сквозь неё сеткой синеватых жилок, пробегала лёгкая дрожь, и было видно, как пульсирует в них кровь. Конь нервно прядал широко расставленными ушами, то и дело переступал с ноги на ногу, точно не находил себе места. Я медленно приблизился. Он посмотрел на меня умными, выпуклыми и слегка раскосыми тёмно-синими глазами, посмотрел так выразительно, точно знал, что я – его хозяин, и теперь пытался понять, что я за человек и как буду относиться к нему.

А я уже любил его всей душой и даже имя успел ему придумать – Тарлан. Об этом и сказал отцу, с улыбкой наблюдающему за мной.

– Хорошо, – согласился отец, – пусть будет Тарланом. Береги его, сын. Конь для воина дороже всего: жены, детей и собственной жизни.

– Значит, твой конь дороже тебе, чем я, чем мать, братья и сёстры? – изумился я.

– Ты ещё мал. Подрастёшь и вспомнишь мои слова. – Отец снисходительно приобнял меня за плечи и спросил: – Хочешь сесть верхом?

– Конечно, отец...

Артакий помог мне взобраться на Тарлана. Отец подал знак, и ему подвели его скакуна – такого же красавца жеребца, но изабеллового цвета. Он одним махом вскочил на него.

Мы медленным шагом выехали за ворота дворца и, сопровождаемые всадниками охраны, двинулись по пыльным улочкам нашего селения мимо глинобитных хижин вольных земледельцев и рабов, обрабатывающих земли моего отца, засеянные ячменём и пшеницей, наши бескрайние персиковые сады и виноградники.

Подданные при нас падали ниц и не вставали, пока мы проезжали мимо. Так было заведено, и следовать этому правилу был обязан всякий, кому была дорога его шкура. Одного мальчишку-оборвыша, немногим старше меня, зазевавшегося и не успевшего уткнуться лицом в землю, Артаксий походя огрел плетью.

Отец тем временем рассказывал мне:

– Твой Тарлан – знаменитой несейской породы, о которой писал ещё Геродот. Мы зовём этих коней иначе – ахал-теке, по имени оазиса Ахал в Нишапурской долине. С давних пор они славятся по всему миру: от Индии до Египта... Наш повелитель Ород предпочитает лошадей именно этой породы. При всей своей кажущейся хрупкости они очень выносливые. Я однажды видел, как ахал-теке вынес на себе двух раненых воинов и ушёл с ними от погони по зыбучим пескам. Посмотри только, как идёт твой Тарлан. Он почти не касается земли, он парит над ней...

И в самом деле, мой жеребец двигался так плавно и легко, точно плыл над дорогой.

Миновав селенье и сады, мы выехали на плоскогорье, простирающееся до самого горизонта, отороченного грядой Армянских гор, чьи острые зубцы напоминали серебряный гребень моей матери.

Отец вдруг совсем по-мальчишечьи гикнул и припустил своего скакуна вскачь. Я последовал за ним. При этом ход Тарлана оставался всё таким же ровным и плавным, только ощущение полёта стало ещё явственней.

Тёплый ветер, напоенный ароматами первых весенних трав, бил мне в лицо, трепал одежды и гриву скакуна. Я с трудом догнал отца. Наши кони пошли рядом. Охрана во главе с Артаксием отстала, и мы с отцом остались вдвоём, наедине с нашими скакунами, с этой равниной, принадлежащей нашему древнему роду, с этим дурманящим ветром, летящим навстречу...

Время от времени отец бросал на меня короткие, ласковые взгляды. Его лицо оставалось суровым, но я чувствовал, что он любит меня и гордится мной. А я был горд тем, что на равных скачу рядом с ним, с моим отцом, знатным князем и прославленным воином. И мне хотелось вот так бесконечно скакать к далёким синим горам. Хотелось, чтоб никогда не знали усталости мой конь и чтобы отец мой вот так же всегда был рядом и весенний ветер развеивал его тёмно-русые, густые кудри, тронутые первой сединой...

2

Я рано возмужал, окреп, приобрёл все навыки, необходимые воину, и уже в восемнадцать лет был назначен командовать элитным отрядом катафрактов – тяжёлых конников, закованных

в чешуйчатые панцири и кольчуги. Моё назначение на столь почётную должность счастливо совпало с начавшимся походом на соседнюю Сирию, попавшую под влияние наших извечных врагов – римлян и давно уже притягивавшую взор нашего могущественного царя Орода II своими богатыми городами и торговыми портами. Этот поход возглавил его любимый сын и наследник парфянского престола царевич Пакор, который, несмотря на свои молодые годы, уже успел прославиться как удачливый военачальник.

Сопровождаемый лучшими всадниками из дружины моего отца, я должен был выехать навстречу царевичу, чтобы соединиться с ним у сирийской границы.

Помню весенний, солнечный и знойный, словно в разгар лета, день моего отъезда из родительского дворца. Проводить меня вышли все его обитатели: отец, мать, братья и сёстры. Чуть поодаль стояли седой Артаксий, весь иссечённый шрамами, мои мудрые учителя и дворцовые слуги. Отец, показавшийся мне вдруг постаревшим, обнял меня крепко и коротко, как и положено князю и мужчине, а мать и сёстры не смогли сдержать слёз. Слуги хором желали мне счастливого пути и возвращения с победой. А мне, наивному, хотелось быстрее закончить церемонию прощания, ибо мысленно я был уже далеко отсюда, на поле сражения, где меня ждали воинские подвиги и слава. Ах, если бы я знал тогда, что вижу своих родных в последний раз...

Наш поход начался весьма успешно. Этому способствовал раскол среди наших врагов. В Риме уже несколько лет шла война за власть между сторонниками убитого Гая Юлия Цезаря и приверженцами республики, и в восточных провинциях часть легионов присягнула Бруту и Кассию, а другая – Марку Антонию, Октавиану и Лепиду.

Пакору удалось привлечь на свою сторону мятежные легионы Квинта Лабиена и с их помощью в нескольких сражениях наголову разбить легионы Деция Сакса, сторонника триумвира Марка Антония.

Затем Лабиен двинулся в Малую Азию и захватил её. А мы победным маршем прошли по Сирии, с ходу покорив все финикийские города, кроме Тира.

Но наше торжество было омрачено вестью, полученной из Ктесифона. Младший брат Пакора Фраат, воспользовавшись его отсутствием, совершил переворот. Он подло умертвил своего отца царя Орода II, поднеся ему на пиру кубок с ядом, затем убил двух братьев и воцарился на парфянском престоле под именем Аршака XV.

Однако самым страшным для меня ударом стало письмо из родного княжества, в котором одноглазый грек, некогда учивший меня географии и философии, сообщил, что после переворота случилось с моей семьёй. Мой справедливый и гордый отец, как и следовало предполагать, отказался присягать Фраату и был задушен наёмниками по его приказу. Смерти были преданы и моя благородная мать, и малолетние братья и сёстры. Мой наставник Артаксий пал бездыханным, пытаясь защитить их.

Узнав о предательстве брата, Пакор собрал совет военачальников и приказал нам без промедления готовиться к возвращению в Парфию. Его желание наказать узурпатора полностью совпадало с моими чувствами, и я вызвался идти в авангарде.

Мы быстро свернули лагерь и тронулись в путь, не дожидаясь, когда будет готов к движению громоздкий обоз.

Через день высланные вперёд разведчики донесли, что нам наперерез движется легат Марка Антония и самый опытный из его полководцев Публий Вентидий Басс. Его когорты вскоре преградили нам дорогу к дому, а подвижные отряды захватили склады, лишая нашу армию запасов продовольствия и фуража.

Первый раз мы встретились лицом к лицу у Гиндара, но Вентидий, умело маневрируя, ушёл от решающего боя. При этом он нарочно проговорился наместнику Гиндара Ханнею, что опасается нашей переправы через Евфрат близ города Зевгма, ибо это поставит его в невыгодные условия.

Ханней тут же направил в наш стан гонца, предупреждая об этом. Пакор, поверив уловке врага, приказал строить мосты у Зевгмы, хотя худшего места для переправы найти было трудно: быстрое течение, вязкое дно, песчаные берега... Мы пытались отговорить царевича от столь непродуманного решения, но он настоял на своём. Наши воины потратили на возведение переправы сорок дней. За это время Вентидий основательно пополнил своё войско и подыскал для будущего сражения удобное место, оборудовав там хорошо укрепленный лагерь.

Все эти обстоятельства нашего храброго царевича ничуть не смутили – под его стягами стояло более двадцати тысяч отборных воинов, закалённых в боях. Прежние успехи и значительный численный перевес над римлянами вселяли уверенность в победе.

Вентидий, напротив, всеми действиями демонстрировал свою слабость и нерешительность. Это был хитрый враг. Он хорошо изучил нашу тактику, позволявшую побеждать римлян: непрерывные наскоки лёгкой кавалерии, вооружённой луками и дротиками, мнимое отступление и вовлечение противника в преследование, а затем – мощный, неожиданный удар катафрактов, вооружённых четырёхметровыми копьями – контосами, против которых бессильна любая броня и самые устойчивые боевые порядки. Следующий за этим прорыв неизбежно вызывал у противника панику и обращал его в бегство. Тогда в бой снова вступала лёгкая конница, которая и завершала разгром. Вот эту победоносную тактику Вентидий и применил против нас, когда настал день решающей битвы.

...Солнце ещё не поднялось из-за гряды холмов, на склонах которых находился лагерь Вентидия, но лучи уже осветили небо на востоке, там, где была наша Парфия, куда были устремлены все наши помыслы.

На равнине, занятой нами, ещё царил полумрак, когда войска начали строиться для битвы. Звучали сигнальные рога и рожки, раздавались голоса командиров и ржание лошадей, бряцание оружия и доспехов. В короткие мгновения, когда эти звуки смолкали, воцарялась пронзительная тишина, сжимающая даже самое храброе сердце.

Царевич Пакор расположил своих катафрактов на возвышенности, сразу за отрядами лёгкой кавалерии, которую решил вести в бой сам, вопреки нашим просьбам не рисковать собой и занять место, подобающее полководцу столь высокого ранга. Но так сильна была уверенность нашего храброго царевича в победе, так велико желание скорее покончить с врагом, преграждающим нам дорогу, что все советы и уговоры оказались бесполезными – Пакор оставался непреклонен.

С возвышенности мне хорошо был виден первый ряд всадников и он в красном плаще, восседающий на белогривом скакуне, и его телохранитель с красно-жёлтым полотнищем, трепещущим на лёгком ветерке. Вскоре я разглядел и наших врагов. Их было всего две когорты – шесть манипул, построенных в шахматном порядке и выдвинутых Вентидием далеко вперёд от своего укрепленного лагеря. Римлянин как будто нарочно оставил открытыми фланги, позволяя нам окружить его когорты. Редкая цепочка пращников и лёгких пехотинцев – велитов, растянувшаяся перед боевыми порядками, ещё более усиливала впечатление о слабости римского войска.

Царевич Пакор не стал дожидаться назначенного для атаки часа и подал сигнал к наступлению.

Пронзительно взревели сигнальные трубы, вторя им, зазвучали голоса воинских начальников, и конники, возглавляемые Пакором, обнажили мечи и устремились вперёд.

Я видел, как они быстро преодолели несколько стадий², отделяющих их от римлян, как полетели им навстречу первые дротики, камни и свинцовые шары – гландесы, как, выбитые из сёдел, пали под копыта своих коней первые воины. Но это не могло остановить общего натиска. Конники Пакора буквально смели велитов и пращников и устремились к манипулам

² Единица длины, равная примерно 185 метрам.

первого порядка. Римляне, не дожидаясь удара, стали отступать, сохраняя при этом чёткий строй. Наши конники настигли их, врубившись в первые ряды. Римляне, прогибаясь подковой, продолжали пятиться. Казалось, строй манипул вот-вот лопнет, расколется на куски, как орех под ударом молота, и тогда наступит наш черёд ударить в образовавшуюся брешь и завершить разгром.

Но легионеры держались стойко. Авангард во главе с Пакором увяз в сече, и тут затрубили римские рога, зазвучали пронзительные свистки центурионов, и со стороны флангов из лагеря Вентидия скорым шагом выступили когорты тяжеловооружённых отборных пехотинцев – триариев. Они шли, всё ускоряя своё движение, подбадривая себя криками «барра». Следом, обгоняя триариев, в тыл Пакору кинулись римские кавалеристы, стремясь отсечь царевича от нас.

Медлить было нельзя, и я отдал приказ к атаке. Опустив наши смертоносные контосы, мы поскакали на выручку царевичу. Но было слишком поздно: римляне успели взять всадников Пакора в кольцо.

Я ещё успел заметить, как закачался и пал под ноги сражающихся стяг Пакора, как сам царевич, пронзённый дротиком-пилумом, сполз с коня. И тут на помощь неприятелю пришёл ещё один грозный союзник – солнце.

Светило, которому с заповедных времён истово молились наши предки-огнепоклонники, на этот раз встало на сторону наших врагов. Выкатившись из-за холмов, оно ослепило нас, лишило возможности видеть римлян и ориентироваться на поле сражения.

Когда до места схватки оставалось не более трёх десятков локтей и я снова мог видеть врага, различать перекошенные яростью и ненавистью лица сражающихся, тяжёлый камень, выпущенный римским пращником, ударил меня в правое плечо. Я покачнулся, но удержался в седле, хотя и выронил свой контос. И тут римские велиты, сидевшие в укрытиях, подняли перед нами искусно замаскированные травой заострённые колья.

Остановить или отвернуть в сторону скачущего галопом и утяжелённого металлической бронёй Тарлана было невозможно. Он со всего маху налетел грудью на частокол. Я вылетел из седла, тяжело плюхнулся наземь, и свет, ослепительно вспыхнув, погас в моих глазах.

3

Очнувшись, я не понимал, где нахожусь, не помнил, кто такой, что со мной случилось. Творец всего сущего, Горомаз не позволил мне погибнуть в той страшной битве и сохранить тем самым мою честь. Но всё же он проявил милосердие и на какое-то время лишил меня памяти.

Память вернулась лишь на мгновение: однажды подобное уже было со мной.

Это случилось несколько лет назад во время игры в мяч. Греческая забава, о которой рассказывал ещё Гомер в своей «Одиссее», прижилась у парфян, правда, с одной особенностью: соревнование за обладание мячом вели всадники. Игроки должны были обладать исключительной гибкостью и умением ловко управлять конём, чтобы на всём скаку удерживать этот небольшой кожаный мешок, набитый влажным песком, поднимать его с земли, маневрировать между разгорячённых соперников, избегая столкновений с ними...

Я считался одним из лучших молодых наездников и игроков в мяч, но тогда не успел увернуться от столкновения, свалился со своего Тарлана и угодил под копыта чужого коня.

В беспомощности я пробыл семь дней, ощущая себя то парящим в облаках, то ныряющим в тёмные бездны.

Сознание тогда вернулось ко мне внезапно, благодаря неустанным молитвам моей матери и стараниям лекаря. Возвращение из небытия в тот день мной самим и моими родными было воспринято как чудо, как подарок судьбы...

Теперь я снова парил в поднебесье, снова срывался в бездонные пропасти беспамятства. Но мне не хотелось возвращаться, словно я знал, что это сулит только новые муки и тяжкое чувство вины и стыда за то, что я остался жив.

Сколько продолжалось нынешнее беспамятство – не знаю. Когда я наконец открыл глаза и осмысленно посмотрел на мир, то обнаружил, что лежу на гнилой соломе и надо мной сквозь дырявую крышу проглядывает дышащее зноем сирийское небо.

Я застонал. Ко мне склонился мой соплеменник. Он горько поведал о том, что царевич Пакор мёртв, что я ранен и нахожусь в плену, что здесь в хлеву, рядом со мной – все оставшиеся в живых командиры нашего разбитого войска и, вероятнее всего, нас всех ждёт мучительная смерть.

Известие о скорой казни должно было привести меня в ужас, но я воспринял его с радостью, ибо кончина послужила бы избавлением от позора плена.

Ах, если бы так оно тогда и случилось! Только Ахриману, Духу Зла, наверное, захотелось продлить мои мучения, заставить испытать не только поражение в бою, но и все тяготы рабства.

На время римляне как будто забыли о нас. Они шумно праздновали победу. Из шатров и палаток доносились пьяные возгласы, гогот, песни и звуки тубы и медных рожков. В щели хлева заползали запахи крови, омывшей жертвенники. Ароматы жареной баранины и козлятины заставляли мой голодный желудок судорожно сжиматься. Они причудливо смешивались с дымом погребальных костров, на которых римляне сжигали тела своих погибших товарищей, запахами конского навоза и выгребных ям.

Утром следующего дня после моего возвращения к жизни в хлев в сопровождении легионеров вошёл центурион в чешуйчатом панцире и шлеме с поперечным серебряным гребнем.

Он на ломаном парфянском пообещал:

– Вам повезло, ублюдки: Вентидий Басс так ненавидит ваш гнилой народец, что не станет с вами церемониться. Я думаю, вы умрёте быстро! Молитесь своим ничтожным богам и готовьтесь к встрече с праотцами...

Нас вывели из хлева и повели между ровными рядами римских палаток.

Перед центральным шатром нас поставили на колени.

К нам вышел низкорослый старик в белоснежной тунике. Два лиловых шрама пересекали низкий лоб и правую щеку и придавали его и без того суровому лицу свирепое выражение.

Центурион брякнул кулаком по панцирю и рявкнул:

– Вентидий, я привёл тех, кого ты велел.

Вентидий Басс, а это был именно он, окинул нас презрительным взглядом:

– Это все? Я полагал их будет больше... – Он провёл ладонью по коротко стриженным седым волосам и повелел: – Несите труп их вождя!

К шатру за ноги приволокли тело нашего бедного царевича. За три дня, проведённые на жаре, оно раздулось и источало тошнотворный запах.

– Рубите голову! И – на копье! – распорядился Вентидий.

Я отвёл глаза, чтобы не видеть глумление, бессилен помешать этому.

– Слушайте меня, жалкие парфяне, – прокаркал Вентидий. – Вы заслужили право умереть! Но мне не нужна ваша ничтожная смерть. Ваш позор – мой главный трофей... – И он ткнул пальцем в сторону мёртвой головы: – Вы пройдёте вместе со своим царевичем по городам Сирии, открывшим вам ворота. Пусть все знают, что Рим непобедим, а всякого, кто посмеет поднять на нас меч, ждёт такая участь...

Здесь судьба ещё раз предоставила мне шанс умереть с честью, отказавшись нести голову бедного Пакора. Так сделали двое моих товарищей по несчастью, и Вентидий приказал тут же распять их...

У меня неостало духу отказаться. Я был слишком молод и слишком самонадеян, чтобы вот так запросто расстаться с жизнью. Жалким оправданием служила мысль, что я не имею права умереть, не отомстив убийцам моей семьи и нашего славного царевича...

Сколько раз впоследствии, проклиная жалкую долю раба, я сожалел о своей слабости, повторяя слова одного галла, увековеченные Титом Ливием: «*Vae victis!*» – «Горе побеждённым!»

Да, лучше бы меня тогда постигла смерть! Впрочем, кто, кроме всемогущего Горомазы, ведает, что лучше для человека?

Не передать, сколько унижений пришлось мне и моим товарищам пережить за долгие месяцы странствий по Сирии. Сопровождаемые римскими конниками, мы несли страшную, с выпученными глазами, смердящую и изъедаемую червями голову царевича, плетясь по раскалённой сирийской пустыне, от города к городу. В каждом нас встречала толпа горожан, осмеивая и проклиная. И больше всех старались те, кто с поклоном и подобострастием подносил Пакору ключи от городских ворот, предлагая самый щедрый выкуп, умоляя, чтобы только мы не разорали их жилища, пощадили их жён и детей...

В середине осени эта мучительная пытка закончилась. Нас, полуживых и почти падших духом, пригнали в портовый город Рамита. Здесь на центральной площади то, что раньше было головой Пакора, было выставлено на всеобщее обозрение.

Нас погрузили на галеру, которая тут же вышла в море.

Через пятнадцать дней качки и животного, полуголодного существования в вонючем трюме мы пристали к берегу. Нас выгрузили в неизвестном римском порту и, соединив с тысячами других пленных, повели куда-то.

Из разговора конвоиров я понял, что нас ведут в Рим, где за три дня до декабрьских календ должен состояться триумф Вентидия, который он будет праздновать вместе с Марком Антонием.

Легионеры, скрашивая дальний переход, обсуждали это событие на все лады. Так узнал я об удивительной судьбе Вентидия Басса. В юности он пережил немало унижений. Его родной город Аускул захватили римляне: Вентидия в числе других пленных провели в триумфальной процессии Публия Страбона, а после много лет он был погонщиком мулов у Юлия Цезаря. Правда или нет, но говорят, что во время кампании в Дальней Испании, при переходе через горы, Вентидию довелось спасти жизнь Цезарю. Великий полководец приблизил Вентидия к себе, сделал сначала простым велитом, потом – десятником, центурионом... И вот теперь бывший раб сам стал прославленным полководцем и, как победитель парфян, удостоен чести быть триумвиром...

Через семь дней мы увидели перед собой стены Вечного города. Без еды и воды, закованные в цепи, мы ждали ещё два дня на равнине перед воротами Рима.

В день триумфа на золочёной колеснице, запряжённой четырьмя белыми лошадьми, из ворот выехали триумфаторы – Марк Антоний и Вентидий Басс. За ними следовала толпа разряженных в праздничные тоги римских сенаторов, магистратов и музыкантов. Сделав круг по равнине, вся эта процессия снова вошла в городские ворота. Следом повели в город нас.

Один из моих учителей, римлянин, когда-то в детстве восторженно рассказывал мне о Риме, о его бесчисленных и несравненных красотах, созданных сотнями тысяч рабов: архитекторов, каменщиков, скульпторов...

Бывало, я разглядывал пергаменты с рисунками, дивился красоте и величию римские храмов и портиков и грезил когда-нибудь увидеть этот сказочный Вечный город. В самых заветных мечтах я представлял, что однажды парфянское войско одолеет наших заклятых врагов и мы войдём в покорившийся нам Рим. Но никогда я не мог представить, что мне предстоит пройти по его улицам и площадям в рубище и цепях, пройти – не победителем, а побеждённым.

Стыд жёг мне душу, и всё же я узнавал места, по которым нас вели: вот – Триумфальные ворота у Марсового поля, вот – Большой цирк, а вот и Via Sacra – Священная дорога, ведущая к Форуму и Капитолию...

На всём пути процессию окружали толпы простого народа. Плебс ликовал, встречая триумфаторов цветами и восторженными возгласами. Женщины осыпали нашу колонну оскорблениями и проклятиями, мальчишки бросали гнилые фрукты. Некоторые из моих товарищей поднимали с мостовой эти отбросы и жадно ели.

Я тоже хотел есть и пить, но подбирать яблоки или груши в чёрных пятнах плесени не стал. Стыдно признаться, но повинны в этом были не остатки гордости, а страх – упасть и больше не подняться.

4

После триумфа, на закате меня и ещё нескольких моих соплеменников привели на загородную виллу. Нам объявили, что теперь мы – рабы Вентидия Басса, не имеющие никаких иных прав, кроме беспрекословного повиновения своему господину. Каждому на шею надели кожаный ошейник с металлической пластиной, с именем нашего хозяина.

Моих земляков определили обрабатывать поля и виноградники. Я был так слаб и истощён, что не годился для этой работы. Полуживого, меня отослали на мельницу. Этот тесный каменный мешок с бойницами под потолком будет мне сниться, пока не придёт черёд идти в страну мёртвых.

Белая пыль постоянно висела в воздухе, толстым слоем ниспадала на всё вокруг, прилипла к потным телам, забивала глотку. Весь римский день – от рассвета до заката, вместе с тремя другими несчастными – сарматом и двумя галлами, я вращал тяжёлые каменные жернова, на которые по жёлобу струйкой ссыпалось зерно. За нами пристально следили надсмотрщики – рабы-германцы. Вооруженные бичами и палками, они пускали их в ход то и дело, не позволяя нам останавливаться. За месяц-другой кожа на моих боках так задубела, что стала похожа на шкуру осла или, верней сказать, зебры. Утренней и вечерней пищей нам служила неизменная болтушка, сделанная из тёмной муки грубого помола и воды из местной речки, да несколько подгнивших фиговых плодов. Только на Сатурналии – декабрьский праздник в честь бога Сатурна – мы получили по две кружки вина из виноградных выжимок, немного хлеба и оливкового масла.

Как я выжил на этой мельнице, не знаю...

В первые дни пребывания здесь только мысль о побеге и придавала мне силы. Но бесконечные, однообразные будни, полные тяжёлого труда, постоянного унижения, сменяли друг друга, унося последние надежды. Днём мы были под неусыпной охраной. Ночью нас приковывали цепями к железным крюкам, вбитым в стены каменного сарая.

Однажды, заметив мои попытки расшатать крюк в стене, угрюмый сармат остановил меня:

– Парфянин, прекрати это бессмысленное занятие! Неужели ты хочешь, чтобы из-за тебя нас всех клеймили калёным железом?

Его поддержал один из галлов:

– Ты или прирождённый глупец, или полный безумец. Остынь! Куда ты побежишь? Вокруг на много дней пути земли нашего господина. Отряды легионеров ловят беглецов... Если тебе удастся проскользнуть незамеченным и оказаться за чертой его владений, соседний землевладелец и даже его слуги почтут за счастье выдать тебя. По римским законам никто не имеет права дать убежище беглому рабу. А когда тебя поймают, ты будешь завидовать мёртвым. Тебя ждут каменоломни, где ты не протянешь до следующего полнолуния, или отправишься на арену к диким зверям и хищным муренам...

– Если ты не уговонишься, я придушу тебя... – пригрозил сармат.

Он так бы и сделал.

И я покорился судьбе, надеясь только на чудо.

Примерно через полгода после своего блистательного триумфа наш хозяин Публий Вентидий Басс тяжело заболел и умер.

Как я узнал потом, своих детей он не имел, и потому мог завещать имущество кому угодно. Незадолго до своей кончины Вентидий в пух и прах разругался со своим патроном Марком Антонием. В пику бывшему благодетелю он завещал виллу и земли его сопернику – Гаю Юлию Цезарю Октавиану.

Октавиан унаследовал громкий титул от своего знаменитого двоюродного деда Юлия Цезаря Августа, убитого заговорщиками в мартовские иды семь лет назад. Молодой Цезарь старался подражать великому родственнику и в необузданном стремлении к славе, и в тяге к единоличной власти. Марк Антоний, в свою очередь, почитал себя первым другом Цезаря и продолжателем его дел и ни за что не хотел уступать Октавиану первенство. Противостояние бывших соратников по второму триумвиату вот-вот грозило перейти в открытую войну. Пока же каждый из них вербовал себе сторонников в Сенате и в провинциях, запасался средствами для будущей кампании. Поэтому получение наследства от Вентидия было для Октавиана очень кстати.

Благоприятным это обстоятельство неожиданно оказалось и для меня.

Вскоре после смерти Вентидия осмотреть наследуемое поместье приехал Пол, вольноотпущенник Октавиана. Он появился на мельнице в сопровождении четырёх преторианцев, одетый, словно полноправный римский гражданин, в ослепительно-белую полотняную тунику и тогу, сотканную из тонкой шерсти. На его гладком, одутловатом, как у евнуха, лице застыла брезгливая гримаса.

Он, морщась и время от времени прикладывая к носу напитанный благовониями судариум – платок для вытирания пота, оглядел наши голые, грязные, изнурённые тела и устало спросил у старшего надсмотрщика:

– Откуда этот скот?

– Трое варваров с севера и один парфянин, благородный Пол, – почтительно доложил надсмотрщик.

– Кто из них понимает латынь?

И тут я не выдержал, хотя знал, что рабу под страхом смерти не положено открывать рот, пока не прикажут.

– Я говорю по-латыни. – И тут же получил удар плетью от стоящего рядом германца. Он замахнулся снова, но Пол остановил его.

– Поди сюда! – приказал он мне.

Не поднимая головы, я сделал шаг к нему.

– Кто ты, раб, и откуда родом? – спросил Пол.

– Я из Парфы... – выдохнул я. – Меня зовут...

– Обращаясь ко мне, ты должен добавлять «господин», – перебил Пол. – Тебе ясно, раб?

– Да, господин. – Я согласен был называть господином даже выючного осла, если бы только он помог мне покинуть проклятую мельницу.

– Хорошо. Какие языки ты ещё знаешь?

– Греческий, арамейский, сарматский... господин. И немного язык даков и египтян...

Пол задумался на миг и произнёс несколько слов по-гречески.

– Лучше бы ты не родился или безбрачен погиб... – торопливо перевёл я знакомую с детства строфу из «Илиады». – Это Гомер... господин. Обращение Гектора к...

– Довольно, – высокомерно произнёс Пол, приложив судариум к мясистому носу. – Этот раб поедет со мной. Он может оказаться полезен...

5

Свобода похожа на воздух. Только когда начинаешь задыхаться, замечаешь его отсутствие.

Покинув злосчастную мельницу, я вдохнул полной грудью.

Меня отвели в балнею – холодную баню, где я впервые за несколько месяцев помылся со щёлоком и валяльной глиной, постриг волосы, сбрил отросшую бороду и переоделся в грубую, но чистую тунику. Избавившись от паразитов, терзавших моё тело злее и неустаннее, чем плети надсмотрщиков, я и впрямь ощутил лёгкое дуновение свободы.

– А ты вовсе не старый? – удивился Пол, когда я снова предстал перед ним. – Да у тебя просто атлетическое телосложение... Немного поправишься, и тебя можно будет выпускать на арену... – ухмыльнулся он.

Обойдя меня со всех сторон, приказал:

– Снимите с него ошейник и принесите стило и папирус.

Под диктовку я написал на папирусе несколько фраз, сначала на греческом, затем – на латыни. Мои руки, отвыкшие от подобных занятий, подрагивали, и приходилось прикладывать усилия, чтобы буквы в строчках не скакали, а сами строчки не съезжали вверх и вниз.

Пол прочитал написанное и распорядился моей дальнейшей судьбой:

– Ты будешь работать переписчиком рукописей в библиотеке Гая Азиния Поллиона. Смотри, старайся не подвести меня... Помни: от твоего старания зависит твоя будущая судьба...

– Я буду стараться... господин, – заверил я.

Пол больно ущипнул меня за щёку и похлопал пухлой ладошкой по плечу:

– Старайся...

Уже через день я приступил к работе в библиотеке. Построенная два года назад, она располагалась в отреставрированном портике храма Свободы на Авентийском холме. Многочисленные статуи полководцев и героев украшали её. Перед входом в центральный зал высилась скульптура Гая Юлия Цезаря, чей давний замысел о строительстве публичной библиотеки и сумел осуществить Гай Азиний Поллион.

Он некогда являлся яростным сподвижником Марка Антония, а ныне, отойдя от политики, посвятил себя литературе и благотворительности, успешно соперничая в этом благом деле с Гаем Цильнием Меценатом – известным далеко за пределами Рима покровителем искусств и человеком из ближайшего окружения моего нового хозяина Октавиана.

Пол, наставляя меня, проговорился, что именно Меценат подсказал ему идею определить в библиотеку к Поллиону «своего человека», чтобы исподволь знать, что там происходит, какие ведутся разговоры среди читателей – самых знатных и влиятельных людей Рима: политиков, поэтов, философов, а также выяснять их скрытые настроения, политические и литературные предпочтения и вкусы.

Этим «своим человеком» в лагере возможных оппонентов Октавиана и суждено было стать мне.

Чтобы не вызывать подозрений, старшему библиотекарю Марку Теренцию Варону сообщили, что я направлен сюда, дабы научиться всем тонкостям ухода за рукописями и табличками. Дескать, Октавиан задумал построить собственную библиотеку, где я впоследствии и смогу применить полученные знания.

Меня определили в греческий зал, ибо подлинных знатоков языка и культуры эллинов даже в многолюдном Риме найти было непросто.

В огромном греческом зале теснились стеллажи с плотно стоящими пронумерованными ящиками, где хранились папирусы и пергаментные свитки. Одну из стен, от пола до потолка,

занимали полки с восковыми табличками, также имеющими свою нумерацию. У больших окон, выходивших в зелёный дворик с мраморным фонтаном и портиком, располагались три стола для переписчиков.

В зале меня встретил смотритель – грек-вольноотпущенник по имени Агазон. Он ткнул пальцем в сторону пустующего стола, определяя моё рабочее место. Про себя я сразу отметил, что имя смотрителя переводится с его родного языка как «хороший». И это показалось мне добрым предзнаменованием, хотя внешне, сутулый, как жреческий посох, худой и бледный, Агазон не вызывал симпатии.

Мне, двадцатилетнему, он представлялся древним, отжившим свой век старцем, хотя было ему едва ли больше пятидесяти лет. Его неразговорчивость и погружённость в какие-то размышления сбивали меня с толку, сумрачность казалась заносчивостью, а за молчанием мнились хитрость и подвох.

Впрочем, я и сам вовсе не стремился к откровениям.

В первые несколько дней Агазон только давал мне поручения переписать ту или иную рукопись и ворчал, бубнил что-то себе под нос, если я допускал ошибки.

И всё же этот старик-брюзга представлял собой куда меньшее зло, чем германец-надсмотрщик на проклятой мельнице. И ворчание Агазона не шло ни в какое сравнение с витой плетью германца.

Пол предупредил меня, что единственным моим господином является Октавиан, чьи приказы мне надлежит исполнять, а хозяин библиотеки Поллион, его помощник – библиотекарь, известный энциклопедист Марк Теренций Варон и пресловутый Агазон – мне вовсе не начальники. У них я должен научиться ухаживать за свитками, уметь правильно составлять каталог, находить нужную рукопись в хранилище. А главное – я всегда должен держать уши открытыми и обо всех разговорах, которые будут вести Поллион, его помощники и их гости, немедленно сообщать Полу – моему «истинному и единственному благодетелю», как не преминул заметить он.

Роль доносчика претила мне, никак не совпадала с моими представлениями о чести, но ничего иного, как заверить «господина Пола», что я всё понял и обязуюсь всё неукоснительно исполнять, увы, не оставалось.

Исполнять моё поручение оказалось делом непростым. Посетителей в нашем зале не было. Агазон же говорил со мной только о работе. Низким, словно простуженным голосом он отдавал короткие распоряжения: эту табличку смыть, этот пергамент подклеить, этот свиток переписать...

После безотрадного, скотского труда на мельнице всё это я выполнял с большим желанием и старанием. Отвыкшие от стила пальцы плохо слушались, но со временем навыки письма вернулись, и Агазон только одобрительно хмыкал, разглядывая сделанные мной копии.

Но особое удовольствие я получал от общения с самими рукописями и папирусами, хранящими мудрые мысли лучших умов Эллады: Фалеса, Солона, Парменида, Сократа, Аристотеля, Платона.

Разбирая свитки, я порой забывал и про еду, и про сон. Дух мой воспарял над обыденностью, обретал истинную свободу. Ибо не зря говорили древние: для мудреца открыта вся земля, весь мир – родина для высокого духа.

Я завёл себе за правило особенно понравившиеся высказывания мудрецов заносить на специальную восковую табличку, которую в свободные минуты доставал и перечитывал, пытаясь проникнуть в тайну их мудрости.

«С неизбежностью и боги не спорят» (Питтак).

«Несчастье легче сносить, когда видишь, что твоим врагам ещё хуже» (Фалес).

«Жизнь подобна игрищам: одни приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть» (Пифагор Самосский).

«Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, не существующих, что они не существуют» (Протагор).

«Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. Быть же побеждённым самим собой всего постыднее и хуже. Это и показывает, что в каждом из нас происходит война с самим собой» (Платон).

«Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится» (Демокрит)...

Можно сказать, что в библиотеке Поллиона я почувствовал себя почти счастливым. Впервые с момента пленения.

О своём рабстве я и впрямь забывал, уносясь мыслями в эмпирии духа. И только приходы Пола возвращали меня на грешную землю, напоминали об участи раба и тайного соглядатая...

6

Поначалу Пол появлялся в библиотеке нечасто, раз в две недели. Оставляя сопровождавших его рабов у входа, он важно вкатывался в зал, отсылал прочь Агазона и бесцеремонно усаживался на единственное курульное кресло – табурет на кривых ножках с сиденьем из слоновой кости, словно забывая, что это право принадлежит лишь высшим магистратам: консулам, преторам, квесторам, жрецам. И тут же на меня сыпались вопросы: кто приходил в библиотеку, о чём вел речь, какие новые свитки приобрёл Поллион, *et setera, et setera*...³

Пол пытливо вглядывался в меня своими круглыми, как у паучка, чёрными глазками: не утаил ли я чего-то важного? Я отвечал подробно и чувствовал облегчение, когда он уходил.

Тогда я и заподозрить не мог, что, помимо интереса ко мне как к доносчику, этим оплывшим жиром сластолюбцем движет ещё и неестественная, позорная страсть...

Со временем визиты Пола становились всё чаще: он взял за правило появляться в библиотеке каждую неделю. Усаживаясь на биселиуме – двухместной скамье, он предлагал мне присесть рядом. И после обычных расспросов о том, что происходит в библиотеке, рассуждал темно и туманно, как Пифия, о любвеобильных и жестоких римских богах, о римских героях. Перескакивая с одного на другое, он касался то моего колена, то руки. Его липкие прикосновения вызывали у меня желание вскочить и бежать прочь.

...Год назад, на войне, я впервые познал женщину. Это была пленная сириянка, совсем юная, в разодранной одежде и трясущаяся от страха. Её приволокли мои воины из только что захваченной крепости. От неловкого и скорого соития с ней, кусающейся и царапающейся, как зверёк, я не испытал ни радости, ни облегчения...

Вторая встреча с женщиной произошла на мельнице. На прошлые Сатурналии управляющий, в знак особой милости, привёл к рабам трёх обитательниц из лупанария – так римляне называют свои дома терпимости. Мне досталась темнокожая, толстая и уже немолодая жрица любви. Её грубые ласки не оставили в моей душе никакого следа, и слава богам, не наградили дурной болезнью. Но даже плотская любовь этой распутницы была более естественной, чем домогания Пола, и не казалась такой мерзкой...

Ещё в ранней юности я изучал историю Спарты, древних Фив и Крита. Там обычным делом считалась страсть мужчины к мужчине и женщины к женщине. Мой наставник-афинянин читал мне стихи Сапфо, славящие такие оргии. Но у нас в Парфе подобное являлось позором, лишаящим воина чести, а женщину права называться порядочной. Так были воспитаны мои предки, так воспитывался и я.

Гнусные налёты Пола вызывали не только отторжение, но и гнев. Положение раба не оставляло возможности защитить свою честь иначе чем ценой жизни. И я был готов к этому.

³ И так далее и тому подобное (*лат.*).

К тому же Пол, хоть и требовал называть его «господином», моей жизнью распоряжаться не мог. Возможно, поэтому предпочитал действовать больше намёками.

Однажды он заговорил со мной напрямую.

– Знаешь ли ты, чем отличается народ великого Рима от всех остальных народов? – спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Римляне взяли верх над всеми только благодаря дисциплине, умению повиноваться и умению повелевать. Это те добродетели, которые сделали римский народ несравненным и дали ему господство над другими...

Говоря это, Пол взял меня за подбородок и придвинулся ближе, обдав горячим и несвежим дыханием, которое не скрывали даже ароматные масла и благовония. Погладив меня по щеке влажными пальцами, он продолжил:

– И эта дисциплина, это повиновение распространяется не только на войско и магистраты, но и на всё общество. Так вот, мой мальчик, и тебе надлежит относиться ко мне по-римски: быть послушным и повиноваться... Во всём! Если ты, конечно, желаешь получить свободу и добиться успеха здесь, на своей новой родине... Возьми пример с меня!

Тут Пол стал торопливо развязывать пояс на моей тунике. Передо мной был уже не надутый слуга всесильного Октавиана, а развратный старик, стремящийся к удовлетворению своей похоти.

Глупая улыбка невольно искривила мне рот. Пол, не сводивший с меня сального взгляда, воспринял её по-своему.

– Да-да, удача улыбается тебе, мой мальчик, лови её! – Он попытался поцеловать меня в губы. Я увернулся, ощущая всё более острое чувство брезгливости, испытывая неудобство и досаду от того, что вынужден терпеть его мерзкие прикосновения.

– Господин, прошу вас не делать того, что противно самой природе!

Мои слова только раззадорили его.

– Да что ты знаешь о природе, мальчишка? Сами олимпийские боги не стыдились такой любви. Зевс любил Ганимеда, сына троянского царя Троса, Аполлон обожал Гиацинта и Кипариса, Пелопс был возлюбленным Посейдона... Великие умы и герои принесли подобные жертвы на алтарь Эроса. Геракл был равнодушен к Иолаю, Полифему и Гиласу. Гомер, упоминая о Патрокле и Ахилле, называл их связь дружбой... Ближайшим другом и возлюбленным Александра Великого был Гефестион...

Пол так увлёкся перечислением великих грехопадений, что забыл о моём поясе.

– Скажу больше, наш патрон Октавиан добился усыновления своим блистательным дядей, только сдавшись ему на милость. Луций, брат Марка Антония, проболтался мне, будто Октавиан, уже после Цезаря, предложил себя консулу Авлу Гирцию за тридцать тысяч нуммов... Так, чтобы взлететь высоко, мой мальчик, надо поклониться... Будь же благоразумен, не упускай своей фортуны...

Пол снова полез с поцелуями.

– Ну что ты ломаешься... – взвыл он, брызжа слюной, и вдруг перешёл на шёпот: – Даже Гай Юлий Цезарь, да будет благословенно его великое имя, начал свою блистательную карьеру благодаря близости с царём Вифинии Никомедом...

Щёки мои полыхали огнём. Уступать сластолюбцу я не собирался: лучше уж за неповиновение попасть в клетку со львами или в бассейн с муренами!

Я оттолкнул его и вскочил. Пол тоже вскочил. Он был взбешён, чёрные глазки его злобно вращались. Он ещё больше стал похож на паука, из сетей которого вырвалась добыча.

Он вцепился мне в горло своими короткими пальцами и стиснул так, что у меня потемнело в глазах...

В этот момент громыхнула дверь, и в зал вошёл Агазон. Он окинул Пола и меня быстрым взглядом и молча прошёл к стеллажам со свитками.

– Ничтожный раб... – прошипел Пол и выкатился прочь.

Глава вторая

1

Я предполагал, что расплата за мою несговорчивость будет суровой, и уже приготовился стать узником Мамертинской тюрьмы, что располагалась у северного подножия Капитолийского холма, а то и пополнить ряды гладиаторов...

Однако ни вечером этого дня, ни на следующее утро, ни через день я не был взят под стражу. Обо мне как будто забыли. Я не знал, что думать и чего ждать.

Неожиданно со мной заговорил Агазон.

– Этого толстого проходимца Пола сейчас нет в городе, – пояснил Агазон. – Октавиан отправил его к Агриппе, в Компанию.

– Меня вовсе не интересует, где находится этот... Пол... – довольно вызывающе отозвался я.

Агазон усмехнулся, но не зло, а скорее снисходительно:

– Моё дело – сообщить. Имеющий уши да услышит...

Он принялся перебирать свитки на столе. А я – переписывать древнюю и сильно обветшавшую рукопись.

Мы довольно долго работали молча. Меня не оставляла в покое мысль, надолго ли отправлен из Рима Пол.

Между делом я поинтересовался:

– Агазон, скажи, что нужно в Компании этому Агриппе?

Старый грек лукаво прищурился, отчего его худое, вытянутое лицо стало похожим на сморщенную грушу.

– Тебя, юноша, и правда интересует Марк Випсаний Агриппа, а не твой патрон Пол? – Но уже через мгновение он вполне серьёзно спросил: – Ты, должно быть, слышал про недавнее поражение Октавиана в битве при Мессине, где ему дал хорошую взбучку Секст Помпей?

Я торопливо кивнул. Агазон продолжал:

– Так вот, не сумев самостоятельно справиться с Помпеем, Октавиан, и это вполне в духе твоего господина, поручил совершить этот подвиг своему закадычному другу Агриппе...

– Но ведь Помпей обосновался на Сицилии. И туда ещё надо добраться...

– Ты прав. Чтобы снять блокаду с торговых путей и одолеть Помпея, этого императора пиратов, Агриппе надо иметь флот гораздо больший, чем у Помпея...

– Значит, Агриппа будет строить флот? – догадался я.

Агазон оживился:

– Верно! А чтобы построить флот и сделать это втайне от противника... – Он оборвал фразу на половине.

– ...нужна надёжная гавань... – завершил фразу я.

Агазон удовлетворённо заметил:

– Ты правильно мыслишь, юноша. Агриппе действительно сначала нужно построить гавань. И, насколько мне известно, этим он безотлагательно и займётся на Лукринском озере.

– Но ведь от озера до моря день пути...

– Ты опять прав. Значит, Агриппе ещё надо будет построить канал между Лукринским и Авернийским озёрами. Последнее уже имеет прямую связь с морем. Соединив озёра, Агриппа будет иметь сразу две гавани: внутреннюю и внешнюю. Останется только построить квинки-

ремы, которых нет у Помпея, оснастить их метательными машинами и абордажными воро-
нами...⁴

Тут Агазон с дотошностью энциклопедиста стал объяснять, чем могучие квинкиремы, имеющие пять рядов вёсел, отличаются от более мелких трирем и бирем, имеющих у Помпея, сколько парусов и сколько гребцов есть на каждом из этих судов, какие абордажные команды они могут на себе нести...

Он не преминул вспомнить и о боге бурного моря Форкисе, о супруге его Кето, злобной богине пучины, и об их дочери – чудовище Сцилле, у которой двенадцать ног и шесть собачьих голов и что она живёт под утесом со стороны материка в том самом Мессинском проливе, где в давние времена чуть было не погиб Одиссей, которого римляне называют Улиссом, и где недавно Помпей рассеял флот Октавиана так же легко, как злая подруга Сциллы Харибда всасывает в себя морскую воду вместе с кораблями и моряками и извергает её обратно, но уже без судов и людей...

Я выслушал его, не перебивая, а когда он исчерпал своё красноречие, спросил о том, что мне не давало покоя:

– С Агриппой понятно. Но для чего послан в Компанию... Пол? – На имени вольноотпущенника я невольно споткнулся.

– Герои, юноша, только тогда становятся героями, когда об их подвиге кто-то красиво расскажет всем остальным, не участвовавшим в сражении. Думаю, что Октавиан отправил Пола с Агриппой, чтобы победные деяния его отважного друга не постигло забвение. В былые времена Пол славился умением красиво описать увиденное, чем и заслужил своё возвышение...

– А может, Октавиан не хочет, чтобы его венценосное имя оказалось в тени Агриппы после победы?

– Это справедливо, но только в том случае, если Агриппа выйдет победителем! А если победит Помпей? – усмехнулся Агазон.

– Тогда потребуется умение для истолкования причин, не бросающих тень на проигравшего... И главное, способность обставить дело так, чтобы Октавиан остался в глазах сограждан неповинным в поражении... – осторожно предположил я и снова заслужил похвалу Агазона:

– Да ты, юноша, клянусь молнией Зевса, и правда не чужд философии. Твои предположения кажутся мне недалекими от истины: у любой победы много родственников, а поражение всегда сирота... Станет триумфатором Агриппа или нет, в любом случае Пол в Рим вернётся не скоро.

Боги опять проявили ко мне свою милость.

И Агазон переменялся ко мне. Мы стали ежедневно и подолгу беседовать. Он посвящал меня в тайны разнообразных наук, в которых был непревзойдённым знатоком. Мы обсуждали всё, что происходит под крышей библиотеки: новые стихи и поэмы, прозвучавшие здесь, людей, которых в них славят или подвергают осмеянию. Благодаря нашим беседам я вскоре отлично разбирался в том, кто из людей искусства тяготеет к какой партии, был в курсе того, о чём говорят на публичных собраниях и литературных вечерах...

Но при этом я вовсе не собирался доносить кому бы то ни было всё, что мне стало известно.

2

Новое соглашение Октавиана с Марком Антонием, достигнутое в Таренте, уже много дней будоражило гостей Поллиона. По нему Марк Антоний передал Октавиану сто тридцать своих кораблей для борьбы с Секстом Помпеем, давно уже раздражающим римскую знать тем,

⁴ Приспособление для абордажного боя.

что привлекает у себя на Сицилии беглых рабов. Октавиан, в свою очередь, уступил Антонию двадцать тысяч своих легионеров для похода на Восток.

Корабли Антония сыграли свою роль в борьбе с флотом Помпея. Вскоре до Рима дошла весть о победах Агриппы при Милах и Навлохе, о стремительной высадке войск Октавиана и Эмилия Лепида на Сицилии, где и было нанесено окончательное поражение сухопутной армии Помпея. Император пиратов вынужден был бежать в Малую Азию, где был схвачен и казнён одним из легатов Марка Антония.

Триумф Агриппы отпраздновали пышно. Победителя увенчали морской короной – венком, сплетённым из миниатюрных золотых вёсел...

При этом от всеобщего внимания не ускользнуло, что рядом с триумфатором на колеснице радостно приветствовал народ Октавиан, который, как справедливо предполагали мы с Агазоном, умело воспользовался победой друга для повышения собственной популярности.

В город вместе с победоносными войсками вернулся и нечестивец Пол. К моему облегчению, в библиотеку Поллиона он даже не заглянул. Но вскоре прислал выслушать мои донесения своего нового помощника Талла, молодого и худосочного раба, более похожего на девочку-подростка.

Талл держался надменно и словно нехотя расспросил меня о том, что происходило в библиотеке за последние месяцы. Было видно, что мой рассказ его вовсе не интересует, и он просто выполняет поручение. Я сухо поведал ему, что в обществе Поллиона все восхищаются новыми успехами Октавиана, а недовольные его политикой граждане в библиотеку не ходят.

Талл недоверчиво посмотрел на меня.

– Враги нашего господина Октавиана не дремлют, – многозначительно произнёс он, – и мы должны быть готовыми вовремя предупредить любые происки...

– Кто же сейчас враг нашего господина? – осторожно полюбопытствовал я.

– Это тебе и предстоит выяснить в самое ближайшее время, – сказал он и ушёл восвояси.

А мне и впрямь в голову не приходило, от кого ждать тех самых происков, о которых вел речь Талл. Главного союзника и соперника Октавиана Марка Антония уже давно в Риме не было. Выполняя завещание Юлия Цезаря, он собрал огромное войско из тринадцати легионов, не считая кавалерии и вспомогательных отрядов, и двинулся в поход на мою родную Парфию.

Это известие, когда оно дошло до моих ушей, вызвало во мне противоречивые чувства. С одной стороны, я желал, чтобы мои сородичи дали римлянам решительный отпор, с другой – чтобы мой заклятый враг узурпатор Фраат потерпел в войне с Марком Антонием поражение.

Имей такую возможность, я встал бы в ряды армии врагов, чтобы воевать с Фраатом, ибо не угасло во мне жгучее желание отомстить за смерть отца и матери, за свержение нашего государя, за гибель царевича Пакора и за моё позорное рабство...

Агазон, которого я всё больше почитал как наставника и старшего друга, в ответ на мои размышления о праведной мести прокрипел:

– Не прибавляй огонь к огню. Так завещал Платон. Основа всякой мудрости – терпение. Запомни, юноша: главные победы – бескровны. Только тогда они не вызовут гнева богов...

– Но боги сами враждуют друг с другом и со смертными, сеют вокруг страх и огонь, ужас и тлен, но при этом учат нас быть покорными их воле и не помнить зла...

Агазон снова сослался на Платона:

– В своих бедах люди, как правило, склонны винить кого угодно: судьбу, богов, но только не себя самих...

Уж не знаю, кого следовало винить Марку Антонию, но только в походе на Парфию он потерпел поражение.

Мне довелось переписывать донесения, сообщавшие подробности этой кампании.

Осада древней армянской столицы Атропатены, где уже много лет стоял парфянский гарнизон, закончилась для Антония неудачей. Его осадные орудия: башни и тараны, онагры

и требушеты, катапульты и баллисты – во время их доставки к стенам осаждённого города отбили парфяне и сожгли. Без них взять каменную твердыню Атропатены оказалось столь же невозможно, как Ксанфу, хозяину Эзопа, выпить море...

Проведя около полугода в бесплодном стоянии у стен непреступной твердыни, обладающей достаточными запасами воды и продовольствия и способной выдержать многолетнюю осаду, Антоний отступил.

Его путешествие через пустынные местности горной Армении, голод, болезни, постоянные наскоки парфянских конников довершили дело: он потерял более трети своего войска и почти всю кавалерию и обоз. Только прибытие в Сирию египетской царицы Клеопатры с деньгами для армии и пополнением для поредевших легионов Антония предотвратило его полный крах.

Я воочию представил, как идёт по каменистой пустыне, где не растёт даже верблюжья колючка, потрёпанное римское войско. Идёт, сохраняя строй, размеренным шагом римского легионера, выверенным в походах во все концы Ойкумены. Шаг – вдох, два шага – выдох. Шаг – вдох... И так, без привала и остановки, около полутора сотен стадий в день... Никакие поражения не могут пошатнуть дисциплину и дух этих испытанных в боях солдат.

Качаются над ровными рядами запылённых железных шлемов не тускнеющие серебряные орлы легионов на деревянных древках, колыхаются отличительные значки когорт и манипул, изображающие животных: волков, коней, кабанов, лавровые венки и раскрытые ладони... Время от времени раздаются громкие голоса центурионов, подбадривающие легионеров. Мерно покачиваются в сёдлах командиры манипул и когорт.

Но вот неожиданно взвихривается пыль на горизонте, как будто начинается пыльная буря. В знойном мареве, словно из ниоткуда, возникают зыбкие силуэты конников. Как слепни налетают на пасущуюся на лугу скотину, на скакивают со всех сторон на римлян всадники в лёгких, развевающихся на ветру одеждах. Колонна ошетиливается копьями. Летят навстречу друг другу стрелы и дротики, камни и свинцовые шары... Кричат и стонут раненые... И нападающие отступают. Запоздало звучат трубы и рожки. В погоню за парфянами устремляются турмы римских кавалеристов...

Из погони, как правило, возвращаются единицы. Ибо ничто не сравнится со знаменитым парфянским выстрелом, разящим наповал, и нет коней, равных в выносливости и скорости нашим ахал-теке...

Представляя эту живописную картину, я не мог сдерживать счастливой улыбки. Я ощущал себя прежним – воином, всадником, победителем. Вновь чувствовал трепет шёлковой гривы моего Тарлана...

Когда же видение отступило, ещё горше и безысходнее ощутилось моё нынешнее положение. Я – раб. Мой верный Тарлан погиб. Пали от рук убийц, посланных предателем Фраатом, все мои родные. Изрублены в сече с легионерами Вентидия все мои друзья. И даже поражение Марка Антония не давало мне радости. Оно всего лишь означало конец надеждам на справедливое возмездие узурпатору...

Невозможность распорядиться собственной судьбой исказила мой взгляд на многие события. Важные для Рима, для моей Парфии, для сотен тысяч других людей, они казались мне не столь значимыми, как моя личная несвобода.

3

В год второго консульства Октавиана, осуществляемого им на пару с патрицием Луцием Волкацием Туллом, Марк Агриппа стал эдилом Рима. Эта должность давала ему право осуществлять надзор за строительством и содержанием храмов, а также ведать общественными играми.

Став магистратом, Агриппа со свойственной ему энергией взялся за благоустройство города, реставрацию и строительство акведуков, чистку городской канализации – Большой клоаки. Это вполне удалось ему, и Великий город стал ещё ухоженней и благовиднее.

Незаметно я привык к Риму, так враждебно встретившему меня вначале и ставшему теперь моим вторым домом. Я полюбил его портики, величественные храмы и роскошные сады с их тёмными пиниями, зелёными оливами и серебристыми тополями, с цветущими круглый год кустами роз и гортензий.

Даже мне, живущему в Риме не так давно, было очевидно, как похорошел, преобразился город при Агриппе: новые здания из мрамора день за днём всё больше вытесняли с улиц старые постройки из туфа и самодельного кирпича.

Впрочем, мой ловкий господин Октавиан и эти достижения умело приписал себе. Острословы из окружения Поллиона на все лады обсуждали хвастливое заявление консула: «Я принял Рим кирпичным, а оставлю потомкам мраморным!» и, конечно, упрекали Октавиана в высокомерии и самолюбовании.

И только Агриппа, казалось, не обращал на похвалы друга никакого внимания.

Как справедливо заметил Вергилий, всякого из живущих влечёт своя страсть... Проявилась таковая и у Марка Агриппы. Этот неотёсанный «солдафон», как называли его между собой посетители библиотеки, неожиданно принялся покровительствовать скульпторам и даже стал появляться на выставках их работ.

А вот в саму библиотеку Поллиона он заглянул лишь однажды, да и то не ради хранимых здесь свитков и пергаменов: они его не интересовали. Он пришёл посмотреть на свой бюст, заказанный хитрецом Поллионом у модного скульптора Квинта Лолия Алкамена.

Бюст удивительно точно передавал черты Агриппы: грубое лицо с волевым подбородком, крупным мясистым носом, широкими, резко очерченными ноздрями, могучую шею, широкие плечи и грудь воина с рельефной мускулатурой.

Мне тогда удалось хорошо рассмотреть прославленного полководца и флотоводца воочию. Навсегда врезались в память его низкий и резкий, приспособленный для отдачи команд голос, кривые ноги кавалериста и раскачивающаяся походка моряка. Агриппа прошёлся несколько раз вокруг своего изваяния, удовлетворённо крикнул и ушёл, оставив после себя почти неуловимую смесь запахов конюшни и корабельной верфи.

Я подумал тогда, что именно такой друг – суровый и приземлённый, надёжный и грубый, нужен Октавиану, власть которого в Риме всё это время оставалась зыбкой и неустойчивой. Одному её не удержать.

Мои размышления оказались верными.

Сторонники Марка Антония снова дали о себе знать. Гай Сосий, избранный консулом, выступил в Сенате с обвинительной речью против Октавиана. Его поддержали многие важные сенаторы и представители всаднического сословия. Октавиан в ответ явился в Сенат вооружённым, в сопровождении Агриппы и преданных ему легионеров и, в свою очередь, обвинил Сосия и его патрона – Марка Антония – в развязывании гражданской войны.

В ту же ночь Сосий и второй консул Гней Домиций Агенобарб вместе с тремя сотнями сенаторов бежали к Антонию, который в Эфесе, уже не таясь, собирал армию для похода на Рим.

Остроты кризису добавило и то обстоятельство, что Марк Антоний развёлся с сестрой Октавиана Октавией и совершил неслыханное кощунство – официально женился на царице Египта Клеопатре. По Риму поползли слухи, усиленно распространяемые клеветами Октавиана, что Антоний околдован зельями царицы-блудницы, что он совершенно потерял разум и волю, что его легионами полновластно распоряжаются евнухи и служанки Клеопатры, мечтающей покорить Рим.

Осенью в год 723-й от основания Рима Сенат, теперь уже полностью состоящий из сторонников Октавиана, объявил Египту войну.

Верный Агриппа тотчас оставил эдильство и снова возглавил римский флот.

В битве при мысе Акций его либурны оказались более маневренными и боеспособными, чем неповоротливые суда египтян. Они сломали боевые порядки кораблей Антония и Клеопатры, сожгли и потопили большинство из них. Антоний запаниковал, бросил погибающий флот и вслед за своей возлюбленной Клеопатрой бежал в Египет.

Рим ликовал. Знаменитый Гораций устроил в зале библиотеки восторженную рецитацию – декламацию своего девятого эпода, посвященного победе при мысе Акций и написанного буквально за три дня после того, как поэт узнал эту новость.

Гораций снискал бурные аплодисменты собравшихся, многие из которых ещё недавно почитали себя противниками Октавиана.

– Жаль, юноша, что ты не видел их льстивые лица, – восклицал Агазон. – О, подлая человеческая натура! Ещё вчера эти змеи устраивали овацию Марку Антонию и вот теперь ликуют, узнав о его поражении. А этот презренный Гораций? Разве можно заставлять свою музу так пресмыкаться и лгать! И всё в угоду сильным мира сего... Подумай только: он ставит Октавиана выше Мария и Сципиона Эмилиана, называет день победы при Акции более радостным, чем день освобождения Сицилии от Секста Помпея... Он опять превозносит Октавиана как великого триумфатора и ни слова не говорит о вкладе в эту победу доблестного Агриппы...

Возмущённый Агазон долго не мог успокоиться. Несколько дней он бурчал себе под нос:

– О, Гораций, о, низкий льстец! Как ты мог без тени смущения все восторженные похвалы обращать к тому, кто ещё вчера был заурядным, беспомощным юношей, сказавшимся больным в сражении при Филиппах, полководцем, бросившим своё войско и бежавшим в Мутинском сражении... Да как тебе не стыдно! Разве твой кумир божествен и бессмертен, разве он благословен и достоин своего унаследованного от Цезаря имени Август! Ты только послушай, – тербил он меня: – Когда ж, счастливцев Меценат, отведаем, Победам рады Цезаря, Вина Цекуба, что хранилось к празднику: Угодно так Юпитеру... Тьфу, какая мерзость!

Я дружески посмеивался над Агазоном:

– А что, если удача снова улыбнётся Марку Антонию?

Агазон хрипло рассмеялся:

– Тогда не только этот Гораций, но и все продажные стихотворцы, политики, оптиматы и популяры (ты, мой мальчик, надеюсь, знаешь этих сторонников нобилитета и плебса) будут пить вино за Клеопатру, правительницу Рима, славя её в стихах и тостах... А Квинт Лолий Алкамен высечет из мрамора бюст Антония куда как с большим прилежанием, чем только что высекал бюст Агриппы... – Тут он по-отечески ласково предупредил меня: – Не советую тебе, юноша, даже мысленно лезть в политику. Запомни: там невозможно остаться честным и не потерять своего лица. Как сказал мой мудрый земляк Пифагор Самосский, политика подобна зрелищу: в ней часто весьма плохие люди занимают наилучшие места... Я предпочёл бы, чтобы тебя по-прежнему куда больше интересовала философия. Она одна даёт мыслям свободу, а сердцу покой... Но этот покой ты сможешь обрести только тогда, когда потушишь всякую ненависть в своей душе...

Я с радостью последовал бы советам мудрого грека и продолжал оставаться подальше от всякой политики и от сильных мира сего, но судьба, увы, не предоставила мне такой возможности.

Накануне сентябрьских нон меня неожиданно вызвали в дом Октавиана.

4

От плебейского Авентина до патрицианского Палатина рукой подать. Спустившись по узенькой улочке от храма Свободы в долину к Большому цирку Массимо и обогнув его кирпичную стену, мы с присланным за мной рабом вскоре оказались у западного подножия Палатинского холма, самого густонаселённого из всех семи римских холмов.

В древности здесь стояли хижины пастухов, которые и положили начало великому городу.

Ещё при Ромуле Палатин, окружённый каменной стеной, соединялся с другими частями города Рима двумя воротами: северными – *Porta Mugonia* и западными – *Porta Romanula*. Ворота эти давно не закрывались, но внушительным видом и размерами ясно давали понять каждому проходящему через них в сторону Палатина, что теперь он вступает в район высшей знати и богачей.

Пройдя с моим спутником через *Porta Romanula*, мы поднялись на Цермал – западную вершину Палатинского холма и направились к лестнице Кака, где и располагался дом моего господина.

Прежде это жилище принадлежало оратору Гортензию, стороннику Брута. Во времена второго триумvirата Гортензия внесли в проскрипции, то есть списки лиц, объявленных вне закона, и дом конфисковали в пользу Октавиана.

Октавиан в который раз проявил недюжинную деловую хватку: выкупил соседний дом у сенатора Катутла и устроил свою резиденцию, объединив оба строения в одно.

Я уже бывал возле нового дворца Октавиана, доставляя сюда рукописи. Но внутрь никогда не заходил: у дверей меня обычно встречали Талл или другой раб, которым я и передавал свитки и папирусы.

Всю дорогу я терзался неизвестностью: кому мог понадобиться в отсутствие моего господина? Сам Октавиан вместе с ближайшими помощниками всё ещё находился в Греции.

С волнением и тревогой вошёл я в двери дворца.

Пройдя вестибюль и переднюю, так называемый остий, мы со спутником оказались в атриуме – крытом дворике с бассейном, в который через отверстие в крыше стекает дождевая вода. Наполовину пустой бассейн свидетельствовал о том, что время дождей ещё впереди.

Раб вёл меня по залам и коридорам уверенно и быстро. Однако, едва поспевая за ним, я успел заметить, что Октавиан живёт почти по-спартански. Несмотря на внушительные размеры, его дворец не блистал роскошью. Крышу атриума поддерживали невзрачные, серые колонны из дешёвого албанского туфа, боковые комнаты не имели дверей и мраморной отделки, а пол не украшала мозаика, как заведено в домах аристократов, где мне приходилось бывать.

Отдёрнув тяжёлую портьеру, раб провёл меня в приёмную – таблиум, где наконец объявил:

– Тебя пожелала видеть наша госпожа – благородная Ливия. Жди здесь! – и удалился, оставив меня в недоумении: для чего я потребовался этой могущественной матроне?

О супруге Октавиана я многое слышал от Агазона.

Дочь претора Марка Ливия Друза Клавдиана и плебейки Альфидии, Ливия в шестнадцать лет стала женой своего двоюродного брата Тиберия Клавдия Нерона – яростного сторонника Марка Антония и давнего противника Октавиана, не однажды открыто и с оружием в руках выступавшего против него. В браке с Нероном Ливия родила двух сыновей. Удивительно, что уже через день после рождения младшего из них – Друза, она стала женой Октавиана. Он не только помиловал её бывшего мужа, но и пригласил его на свою свадьбу с Ливией.

Правда, сразу после этого Октавиан избавился от соперника – отослал наместником в одну из далёких провинций вместе со старшим сыном, названным в честь отца – Тиберием. Друз, вопреки закону, по которому все сыновья должны следовать за своим отцом, остался с Ливией. Позже Октавиан усыновил обоих мальчиков, сделав их своими наследниками. Теперь они воспитываются наравне с его дочерью Юлией. Мать Юлии Скрибонию, брошенную им, Октавиан вскоре так же безжалостно, как бывшего мужа Ливии, выслал из Рима. На этой ссылке, как говорят, настояла его новая супруга.

А ещё Агазон поведал мне, что она очень начитанна, прекрасно разбирается в философии и поэзии. При этом – практична, умна и является едва ли не единственной советницей Октавиана, к чьим словам он прислушивается. К тому же у Ливии хватает терпения сквозь пальцы смотреть на многочисленные увлечения супруга другими женщинами. И более того, она сама знакомит пылкого Октавиана с юными красавицами, поощряет его амурные похождения со своими подругами и посредством этого сохраняет полную власть над ним...

Послышался звук шагов и шелест одежд. Со стороны перестилия – внутреннего двора, окружённого портиками, в таблинум неспешно вошли три молодые женщины. Судя по неброским оттенкам их нежных туник, по сотканным из тонкого, дорогого сукна белоснежным столам с пурпурной оторочкой по краям, все они – важные матроны, представительницы римской родовой знати.

Все трое были хороши собой. Но я сразу определил, которая из них Ливия, хотя прежде её никогда не видел.

Ростом не выше своих подруг, не имеющая отличительных украшений в наряде, она всё-таки выделялась.

Гордый взгляд, голова, увенчанная короной тщательно уложенных светлых шелковистых волос, выходящих на лбу и возле ушей, властных изгиб губ, волевой подбородок – всё говорило, что подлинная хозяйка дома – она.

Подойдя ближе, матроны остановились и принялись бесцеремонно разглядывать меня. Но если Ливия проделывала это молча, то её спутницы не скупились на колкие замечания и откровенные оценки.

– Что-то этот раб совсем не похож на умника... К тому же он не так молод и хорош собой, как я ожидала... – скорчила недовольную гримасу матрона с ярко-рыжими волосами.

Кровь прилила к моим щекам.

– Ты не права, Ургулания, он прехорошенький, – возразила ей брюнетка. – Посмотри, какие у него чувственные губы, да и краснеет совсем как мальчишка... Уж не девственник ли он?

– О, ты, Планцина, несомненно, смогла бы помочь ему избавиться от этого недостатка!..

Бесцеремонность этих юных красавиц заставила меня стиснуть зубы, чтобы не ответить им дерзостью. На миг я забыл о том, кто я. Во мне закипела кровь моих гордых предков, куда более знатных, чем эти потешающиеся надо мной римские блудницы.

Ливия жестом остановила подруг. Она глядела на меня своими карими миндалевидными глазами властно и снисходительно – так смотрят на собственность, ощущая свою безграничную власть.

– Прочти нам что-нибудь из Эсхила... – повелела, обращаясь ко мне.

Я, позабыв наставления Агазона, учившего хорошо подумать, прежде чем начать говорить, дерзко прочёл первые пришедшие на ум строки:

– Любовь, если можно любовью назвать Безумной похоти женской власть, Опасней чудовищ, страшнее бури!

Рыжеволосая и брюнетка захлопали в ладоши, а Ливия произнесла задумчиво, улыбаясь краешками резных губ:

– Правы те, кто говорил, что ты – человек быстрого ума...

– Эсхил, госпожа, говорил, что мудр не тот, кто много знает, а чьи знания полезны... – выпалил я, перебивая.

– Однако ты, раб, не только учён, но и дерзок. – В тихом голосе Ливии неожиданно зазвенела сталь. – А дерзость дорого обходится рабам... Впрочем, при всей своей дерзости ты можешь быть полезен...

Ливия почти точь-в-точь повторила слова Пола в день его появления на мельнице Вентидия, и от этой неожиданной параллели мне стало не по себе.

В этот момент в приёмную шумной стайкой вбежали дети: два мальчика, примерно десяти и шести лет, и девочка лет восьми. Это были дети Ливии – Тиберий и Друз, и дочь Октавиана – Юлия.

Увидев меня, мальчики остановились поодаль и примолкли, а девочка стремительно приблизилась, схватила меня за руку.

– Ты будешь нашим учителем? – доверчиво улыбаясь, спросила она. Впереди у неё недоствало одного зуба, отчего улыбка её казалась незащитной и милой.

Младший из мальчиков тут же заспорил:

– Юлия, ты ничего не понимаешь! Никакой он не учитель, а обыкновенный раб!

– Нет, учитель! Учитель! Это ты ничего не понимаешь, Друз! – тотчас обиженно надула пухлые губки Юлия.

Старший мальчик, похожий на маленького и строгого старичка, исподлобья наблюдал за их препирательствами, но в спор не вступал.

Ливия призвала детей к порядку:

– Друз, Юлия, перестаньте шуметь! Ведите себя достойно! Всегда помните, что вы – дети Цезаря!

Друз послушно умолк, подбежал к матери и уткнулся лицом в подол толы, а Юлия продолжала крепко держать меня за руку и упрямо твердить:

– Всё равно это наш учитель, а никакой не раб... Это наш учитель... Он – не раб! Я знаю!

Ливия неодобрительно взглянула на падчерицу, но произнесла ласково и даже с некоторой приторностью в голосе:

– Ты права, Юлия, дочь моя, это ваш новый учитель!

5

Так совершенно неожиданно я стал вхож в дом Октавиана и оказался в эпицентре важных политических событий.

Впрочем, в моей жизни почти ничего не изменилось. Большую часть времени я по-прежнему проводил в библиотеке Поллиона, занимаясь своим обычным делом – переписыванием рукописей, но три раза в неделю за мной приходил раб, и я отправлялся к моим юным ученикам.

Мы занимались грамматикой и языками, а позднее и красноречием, то есть риторикой. Помимо Тиберия, Друза и Юлии на занятиях часто присутствовали и дети Октавии, вернувшейся в Рим после развода с Марком Антонием: её сын и две дочери от первого брака – Марк Клавдий Марцелл, Клавдия-старшая и Клавдия-младшая, а также Юл Антоний – сын Марка Антония и Фульфии, воспитываемый Октавией. Самый старший из всех – Юл Антоний, довольно рослый подросток, учиться не любил и от занятий отлынивал при первой же возможности, но отличался атлетическим сложением, приятной внешностью, и этим вызывал восхищённые взгляды девочек и неприкрытую ревность Тиберия.

Судьба Тиберия не баловала. Родился он за несколько месяцев до битвы при Филиппах, где партия его отца потерпела поражение. Младенческие годы провёл в постоянных скитаниях по Италии, Сицилии и Ахайе со своими опальными родителями. В Неаполе их едва не схватили

враги. В Спарте лес вокруг беглецов вдруг вспыхнул пожаром, и пламя так близко подобралось к путникам, что Ливии опалило волосы, а у двухлетнего Тиберия обгорели края одежды. Когда мальчику было четыре года, у него отняли мать: триумфатор Октавиан заставил Тиберия Старшего уступить ему жену... При этом самого Тиберия выслали вместе с отцом. Наверное, он очень скучал по матери, плакал и не спал ночами... С матерью он смог встретиться, только когда его отец Нерон умер. Октавиан принял Тиберия к себе в дом. Но каково это – жить в доме врага отца твоего, жить, детским умом и всем сердцем своим понимая, что ты живёшь у человека, повинного в драме твоей семьи, осознавая, что так или иначе в этой драме виновна и твоя собственная мать...

Неудивительно, что Тиберий оказался самым скрытным из моих учеников. Говорил он мало, а когда спрашивали, отвечал двусмысленно и путанно. Даже в тех случаях, когда нечего скрывать, его слова, будто туманом, обволакивали мысль чем-то неясным и неопределённым. В любых ситуациях он пытался ничем не выдать своих истинных чувств и очень злился, когда его старания оказывались замеченными посторонними. Тогда он становился просто нестерпимо колючим, дерзким, и требовалось приложить немалые усилия, чтобы вернуть ему доброе расположение духа.

Тиберий и внешне выглядел не особенно привлекательно: угловатый и даже несуразный мальчик с молочно-белой, пунцовеющей в минуты гнева кожей, жёсткими льняными волосами, квадратным волевым подбородком и светло-серыми глазами, которые смотрели на мир не по летам проницательно и недоверчиво.

Младший его брат Друз являл собой полную противоположность. Любимец Ливии и Октавиана (злые языки утверждали, что именно он и есть настоящий отец Друза), общительный и смешливый ребёнок, предпочитал игры и веселье учебным занятиям. Пухлый, но очень подвижный и ловкий, он часто побеждал старшего брата в беге и других соревнованиях, что ничуть не мешало их крепкой, по-настоящему братской дружбе. Если же вспыхивала ссора, Друз тотчас бежал жаловаться матери, но вскоре забывал обиды и снова становился добродушным весельчаком, игривым и непоседливым.

Пожалуй, только Юлия, падчерица Ливии, и могла поссорить братьев друг с другом по-настоящему. Надо заметить, что этой юной особе нравилось сталкивать окружающих лбами. Эта девочка с тёмно-зелёными, как море перед бурей, глазами и рыжими, искрящимися на солнце волосами обладала не только детской жизнерадостностью, но и повадками взрослой матроны. Возможно, эти качества она унаследовала от своей родной матери – Скрибонии, дальней родственницы Марка Антония, женщины, прославившейся редкостной красотой и скверным характером. Скрибония ещё до замужества с Октавианом успела дважды побывать замужем за отставными сенаторами и постоянными скандалами, необузданным темпераментом и выходками быстро отправила их к праотцам.

Глядя на милое личико Юлии, трудно было сказать, унаследовала ли она красоту Скрибонии, но характер у неё уже в этом юном возрасте проявлялся далеко не сахарный.

Она умело манипулировала мальчиками из своего окружения, одаривала вниманием то одного, то другого, подначивала их поочерёдно, а сама задорно смеялась, глядя на ссоры, причиной которых являлась.

Ко мне Юлия относилась на удивление ласково. На занятиях вела себя тихо, не дерзила, всё улавливала на лету. Особую любовь она проявляла к литературе и многие стихи греческих авторов знала наизусть, предпочитая творения Еврипида и Софокла.

Остальные дети тоже проявляли прилежание и вскоре стали делать заметные успехи. Особую усидчивость и старание проявлял нелюдимый и вечно погружённый в себя Тиберий. И если в занятиях красноречием вперёд вырывались другие ученики, то в выполнении письменных заданий, в переложении стихов на прозу никого равного ему не находилось. Тиберия отличало какое-то поразительное тщание в переписывании текстов и постоянное стремление к

отличному результату. Склоняясь над листом папируса или над восковой табличкой, лицо его преображалось, взгляд утрачивал холодность и настороженность. А когда у него что-то получалось лучше, чем у остальных детей, он радовался, хотя и старался не показывать этого.

Давая уроки наследникам Октавиана, я незаметно привязался к ним и даже полюбил, забыв, что это дети моего врага. Возможно, именно так, любовью старшего к младшему, умудрённого к неопытному и только постигающему жизнь, любили меня когда-то мои наставники – рабы моего отца: пленный латинянин, старый иудей из Иерихона, грек из Афин и его одноглазый соплеменник с Крита... Тогда я не задумывался над их несвободой и личной трагедией каждого и любил своих учителей всей душой.

Признаюсь, теперь мне самому доставляло истинное удовольствие учить этих талантливых детей, нравилось исподволь наблюдать за ними, замечать, как они взрослеют. Не скрою, я испытывал гордость, видя, как в их сознании пресловутая *tabula rasa* – доска, на которой ничего не написано, заполняется содержанием, как постигают они неизведанное, преодолевая трудности в учении, с каким упорством складывают в предложения слова на чужом языке, как стараются победить друг друга в соревнованиях по риторике... Я пытался представить, какими они вырастут, как сложится их судьба. И в эти минуты забывал о своей доле раба, целиком зависящего от прихоти не только своего господина, но и любого из его малолетних отпрысков.

Однажды я поделился своими размышлениями с Агазоном.

Он выслушал меня с вниманием и вдруг заявил:

– Поздравляю тебя, юноша, ты становишься настоящим мужчиной...

– С чего ты так решил? – нахмурился я, предполагая в его словах некую скрытую насмешку.

Но Агазон был серьёзен.

– Полюбить детей врага – это признак силы, – прокрипел он. – А ещё это знак того, что ты стал на шаг ближе к истинной свободе...

Заметив моё недоумение, добавил:

– Только любовь к ближним делает людей по-настоящему свободными. Она – высшая благо! Помнишь, как сказал Аристотель: «Любить – значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо...»

– Как же я могу дать свободу другим, если сам не свободен? – усомнился я.

Агафон только загадочно покачал головой.

6

Моя жизнь в Риме несколько лет протекала вполне размеренно и, надо сказать, без особых перемен. Занятия с учениками чередовались с чтением древних манускриптов в библиотеке Поллиона и долгими разговорами со стариком Агазоном...

И так – изо дня в день, из месяца в месяц.

И только важные общественные события, подросшие ученики да моя седина свидетельствовали, как много воды утекло в Тибре.

...В начале августа 725 года от основания Рима в Италию из Египта вернулся победоносный Октавиан.

Его флот пришвартовался в Брундизии. Не торопясь, Октавиан двинулся в столицу, сопровождаемый на протяжении всего пути огромной свитой, ликованием сограждан, торжественными встречами, пирами и славословием.

Обгоняя его кортеж, в Рим прилетела весть, что в Египте полностью разгромлены войска Марка Антония и Клеопатры. Главный соперник Октавиана и его царственная супруга покончили с собой, дабы избежать позорного плена. При этом слухи многократно преувеличивали

трофеи, захваченные Октавианом, и в очередной раз превозносили его полководческие заслуги и его неопишущую щедрость.

После полутора десятилетий непрерывных войн, сопровождавшихся обнищанием бедных и разорением знати, сладость долгожданного мира заставляла людей забывать и прощать многое: недавние безжалостные проскрипции, жестокость и бескомпромиссность Октавиана по отношению к сторонникам Марка Антония и непомерные, удушающие налоги... Ликование по поводу победы и обретенного трудной ценой мира проникло во все слои римского общества, подчинило себе все умонастроения. Земледельцы были счастливы отмене изнурительных поборов и захваченным в походе рабам. Городские торговцы и плебс радовались вернувшемуся на прилавки изобилию товаров, хлебу и зрелищам. Матери, жёны, сёстры и девушки на выданье приветствовали возвращение домой обогатившихся в походе легионеров. А таверны, лупанарии, цирки и театры получили мощный приток посетителей и резко возросшие доходы...

Даже вчерашние политические противники Октавиана рукоплескали ему, на все голоса славя неизменные римские идеалы: *virtus*, *pietas*, *fides* – дисциплину, благочестие и верность долгу.

К тому же Октавиан-победитель проявил неслыханную доселе щедрость. Всем ветеранам не только своей армии, но и побеждённой армии Марка Антония он раздал земли в южных провинциях и в самой Италии. Каждому легионеру выплатили по тысяче сестерциев на обустройство хозяйства. Солдаты и командиры, не являющиеся римлянами по рождению, получили помимо всего право римского гражданства и все вытекающие отсюда привилегии, права и свободы.

Эта щедрость не осталась безответной, и градус общественных восторгов ещё более возрос.

Правда, не обошлось и без конфузов. В библиотеке Полилона из уст в уста передавали анекдот, произошедший ещё в Брундиции.

Один из ремесленников поднёс Октавиану ворона, который произносил: «*Ave Caesar victor imperator!*» – «Да здравствует Цезарь, победоносный император!» Октавиан щедро наградил ремесленника. Но наутро следующего дня сосед донёс на награждённого, что у него есть и другой ворон, обученный также славить императора Антония. Октавиан не стал наказывать ремесленника, а лишь предложил ему поделиться с соседом деньгами, полученными в награду. И это только добавило восторгов.

Довелось познакомиться с Октавианом и мне. Это случилось в середине августа, незадолго до его триумфа.

Ливия настояла на том, чтобы дети не пошли на каникулы вплоть до октябрьских ид, а продолжали свои занятия.

– Долгий отдых расслабляет тело и ум. Детям Цезаря непозволительна праздность, их ждут великие дела на благо Рима, – вынесла она суровый вердикт, оставив свободными от уроков только дни празднования Сатурналий, Квинкватрий и чествования богини Минервы – покровительницы школ и искусств.

Надо сказать, что первоначально Ливия, проверяя мои способности, довольно часто присутствовала на уроках. Но убедившись, что дети слушают меня с вниманием, в выполнении упражнений проявляют прилежание, а я, в свою очередь, требователен к ним, посещать класс перестала. Впрочем, исподволь я продолжал ощущать её негласный и неусыпный контроль. Но и без него ко всем занятиям готовился старательно. Как выяснилось, не напрасно.

Октавиан появился на уроке незадолго до полудня. Он вошёл в класс в сопровождении Ливии, Мецената, Агриппы и ещё нескольких неизвестных мне приближённых. Столь неожиданный визит столь знатных посетителей, не скрою, привёл меня в замешательство и на мгновение лишил дара речи.

Так близко своего господина я видел впервые. Белоснежная тога с широкой багряной оторочкой подчёркивала юношеский румянец на гладких щеках. Светлые с рыжинкой волосы, большие миндалевидные глаза, пухлый, но очень аккуратный рот. Нос у Октавиана оказался вовсе не длинным и не изогнутым, как его изображали на серебряных денариях, отчеканенных в честь победы при Акции. Весь облик Октавиана, изящный и возвышенный, напоминал Аполлона, который и являлся его божественным покровителем.

«Царскую породу скрыть невозможно», – промелькнуло у меня.

Октавиан уселся на курульное кресло, тут же поставленное слугами сбоку от скамеек учеников. Сопровождающие его сановники встали за спиной. Все, кроме Ливии, для которой тоже принесли кресло. Когда все расположились, Октавиан с лёгкой улыбкой поднял холёную руку с тонкими пальцами и отполированными ногтями и дал знак, чтобы я продолжал занятие.

До его прихода мы упражнялись в свансории. Так называется у римлян речь высокого душевного накала, произносимая по случаю важного общественного события.

Ещё накануне я предложил детям подготовиться к защите или к обвинению военачальника осаждённого города, который имеет неограниченную власть, согласно которой установил – ни в коем случае не открывать ворота. Но так случилось, что ночью в ворота стали стучаться его соплеменники, бежавшие из лагеря врага. Военачальник не разрешил открыть ворота, и всех беглецов перебили преследователи. Когда вражеская осада закончилась, сограждане обвинили военачальника в государственном преступлении...

Тема для рецитации была нелёгкой, к тому же предстояло излагать её в присутствии самого Октавиана. Поэтому я почёл своим долгом напомнить ученикам основные приёмы риторики: обозрение, предуведомление, задержание, импровизацию. Дал совет, где применять анафоры, эпифоры, симплоки и исоколонны. Всеми этими риторическими фигурами я и сам, конечно, не владел в совершенстве, но мне важно было показать, как могут их использовать в речи мои ученики.

– Помните, уважаемые защитники и обвинители, – в конце наставлений блеснул я цитатой, – как говорил великий оратор Цицерон, поэтами рождаются, а ораторами становятся. Из этого следует, что упражнять речь оратору, надеющемуся на успех, надобно так же регулярно, как поэту шлифовать свои строки. То есть ежедневно, ежечасно, при каждом удобном случае...

При упоминании мной имени Цицерона Октавиан вопросительно посмотрел на Ливию и чуть заметно поморщился. Ливия понимающе улыбнулась.

Я предложил первым выступить Юлу Антонию, зная, что Октавиан благоволит к нему.

Юл Антоний начал с пафосом:

– К бедам неисчислимым ведёт открытие ворот крепости, которую осаждает враг. Грек Гомер нас предупреждает: «Бойтесь данайцев, даже дары приносящих!» Троянцы пренебрегли советом этим мудрым и жертвою пали, ворота открыв. Мог ли военачальник, издавший закон, требующий не открывать ворот крепости, сам нарушить его? Разве не стало бы это сигналом для всех прочих поступать подобным образом в иной ситуации, а после искать оправданье себе? *Dura lex, sed lex*. Закон суров, но это закон. Можно ли считать преступником того, кто строгий закон исполняет во имя высшей цели? Военачальник, спасший город, должен быть оправдан, – заключил он.

– Будут ли иные суждения? – спросил я.

– Будут, – подал голос обычно молчаливый на уроках риторики Тиберий.

От моего внимания не укрылось, как на одно короткое мгновение сдвинулись к переносице брови Октавиана, и тут же лицо его снова уподобилось царственной маске. Ливия, напротив, просияла.

– Говори, Тиберий, – подбодрил я.

Тиберий заговорил непривычно громко и смело:

– Юл Антоний, защищая поступок военачальника, предлагает оправдать трусость. А трусость на войне – государственное преступление. Равно как преступлением является отказать в праве на спасение согражданам, оказавшимся в беде. Юл Антоний говорил нам о законе. Да, закон суров. Но этот закон установлен самим военачальником, запретившим открывать городские ворота. Он же обладает правом для отмены закона в случае, если это необходимо. Этим правом военачальник не воспользовался. И это – преступление против своих сограждан. Пиндар утверждал, что необходимое основание всякого государства – справедливость. Будет ли справедливым не наказывать того, кто защитил город от врагов, но принёс в жертву собственным страхам жизни сограждан, которые мог спасти? Я за то, чтобы виновный был казнён как человек, изменивший своему долгу.

– Прекрасное выступление, мой сын! – воскликнула Ливия.

Неожиданно со своей скамьи вскочила Юлия. Глаза её горели. Не дожидаясь разрешения, она выпалила, обращаясь к Тиберию и Юлу Антонию:

– Вы оба не правы. Так как оба категоричны. Вспомните, как говорил Аристотель: совершать поступок можно по-разному, между тем правильно поступить только одним-единственным способом. В том причина, что и избыток, и недостаток присущи порочности, и лишь обладание серединой – добродетель... Военачальник, поступок которого мы обсуждаем, и прав, и не прав одновременно. Только ему было известно, что значило открыть ворота в условиях осады, был ли риск допустимым или же он был чрезмерным, можно ли было подвергать тысячи жизней ради призрачного спасения десятка или нет... То, что является справедливым в мирные дни, не является таковым во время войны... Сограждане, не осудившие своего полководца во время осады, не вправе судить его после победы. Ибо победителей не судят!

В этот момент раздались редкие хлопки. Это Октавиан приветствовал речь своей дочери. Вслед ему дружно захлопали и все остальные.

Октавиан поднялся со своего кресла, и аплодисменты сразу смолкли.

– А знаешь ли ты, Юлия, – спросил он, – чем отличается историк от поэта?

Юлия не смогла ответить.

Октавиан вперил свой светлый взор в меня:

– А ты знаешь, учитель?

– Да, господин.

– Так выручай свою ученицу...

– Аристотель определил, что поэт и историк отличаются друг от друга не рифмованной речью, а тем, что один говорит о случившемся, а другой о том, что могло случиться. Потому в поэзии больше философского, чем в практической истории, ибо поэзия показывает общее, тогда как история только единичное...

Октавиан выслушал меня молча, кивнул небрежно и в сопровождении свиты удалился из зала.

После занятий меня призвала к себе Ливия.

– Благородному Октавиану понравился урок, – сказала она. – Продолжай в том же духе. Только запомни и впредь... никогда больше не ссылайся на Цицерона. Это приказ господина!

Я склонил голову в знак повиновения, всё же недоумевая, чем цитата из речи знаменитого оратора могла не понравиться. Цицерон, насколько мне известно, был верным союзником Октавиана ещё в самом начале его борьбы против Марка Антония. И оставался таковым до самой своей кончины. Я не мог объяснить, с чем связан запрет на упоминание его имени, особенно при обучении искусству, в котором Цицерон не знал себе равных.

Вечером того же дня всезнающий Агазон растолковал мне:

– В Октавиане просто говорит стыд. Это ведь не Цицерон предал Октавиана, а он предал Цицерона. Образовав с Марком Антонием и Лепидом второй триумвират, он не воспротивился включению знаменитого оратора и своего «политического отца» в проскрипционные списки...

– То есть, по сути, Октавиан обрёл своего благодетеля на смерть?

– Совершенно верно, юноша. Но одно дело поступить так исходя из политической необходимости, и совсем иное – жить потом с воспоминанием об этом... Если у избранных богов и остаётся то, что простые смертные называют совестью, то именно совесть теперь и не позволяет Октавиану слышать имя человека, бывшего ему наставником и преданного им... Помнишь, я как-то советовал тебе держаться от политики подальше? – Агазон хитро прищурился и тут же спросил совсем об ином: – А ты, кстати, не обратил внимание, с каким предубеждением благородный Октавиан относится к своему пасынку Тиберию?

– Нет, я ничего не заметил.

– Жаль. Раз уж ты оказался там, где от политики никуда не деться, будь внимательней к мелочам, и у тебя на многое происходящее откроются глаза.

– В чём же Тиберий провинился перед Октавианом? Он ведь совсем мальчишка...

– Да, мальчишка. Но уже достаточно взрослый, чтобы помнить несправедливость, проявленную по отношению к его отцу, чтобы не забыть предательство своей матери. Разве Тиберий забудет все эти унижения? Он уже в состоянии соотнести развод отца с Ливией, его последующую ссылку и неожиданную смерть. Думаю, он уже достаточно подрос, чтобы делать собственные выводы.

– Да, Тиберий на это способен, – согласился я. – У этого мальчика сложный характер и светлая голова. Сегодня на уроке он вполне убедительно продемонстрировал независимость своих суждений и жёсткость оценок...

Агазон хмыкнул:

– Что ж, значит, неспроста Октавиан как-то признался прилюдно, что никак не может разглядеть, что за человек его пасынок Тиберий...

– И что же Ливия? Она, конечно, вступилась?

– Да, говорят, она сказала: «Октавиан, а ты разгляди в Тиберии моего сына и за это одно его полюби... Ты ведь смог полюбить Друза!»

– И ты веришь, Агазон, что Октавиан когда-нибудь одарит своей благосклонностью Тиберия?

– Ничего иного ему не остаётся, как любить своих пасынков с одинаковой силой. Иначе его избирательность приведёт Рим к новым гражданским войнам. – Агазон уткнулся в древнюю греческую рукопись, давая понять, что её содержание волнует его куда больше, нежели предположения о будущем римского государства.

Как бы там ни было, но события ближайших дней показали, что к словам своей жены Октавиан всё-таки прислушался.

В день триумфа на празднично украшенной колеснице рядом с ним стоял не Агриппа, чей блистательный полководческий талант принёс Октавиану очередную победу. Триумфатора сопровождали его юные пасынки и мои ученики – Друз и Тиберий...

Глава третья

1

В год своего седьмого консульства, осуществляемого совместно с Марком Агриппой, Октавиан получил от Сената полномочия цензора. Это давало ему право контролировать всю финансовую жизнь в государстве, следить за строительством и содержанием общественных зданий, надзирать за нравами, но главное – исключать из сословия патрициев и всадников всех неугодных. В том же году впервые за сорок лет провели ценз и составили новый список сенаторов, в котором имя самого Октавиана значилось первым. Так Октавиан стал принцепсом пожизненно.

Принцепс – первый среди равных по старинному римскому обычаю не обладал особыми должностными полномочиями. Но это звание считалось почётным, давалось только представителям старших патрицианских родов: Эмилиев, Клавдиев, Корнелиев, Фабиев, Валериев...

Казалось бы, влияние принцепса невелико, но при ежегодно сменяемых магистратурах он, постоянно стоящий во главе сенаторов, становился определяющей фигурой. И хотя само звание принцепса вовсе не равнялось титулу императора, а как бы напоминало о далёких временах аристократической республики, на самом деле первый шаг к созданию новой империи был сделан. А приверженность республиканским идеалам, которая подчёркивалась Октавианом при каждом публичном выступлении, являлась не более чем фарсом и ловушкой для простаков.

Далее последовали новые шаги. Уже в январские иды следующего года на заседании Сената Мунаций Планк предложил назвать Октавиана Августом, и все сенаторы единодушно одобрили это.

С этого времени мой господин Гай Октавиан Фурин сменил имя, полученное при рождении, и стал официально именоваться: Imperator Caesar Augustus divi filius – император Цезарь Август, сын бога.

Звание «сын бога» ко многому обязывало.

Чтобы закрепить свой новый титул в глазах сограждан, Август начал строительство десятка новых храмов, за год отремонтировал в одном только Риме восемьдесят культовых мест – значительно больше, чем за всё предыдущее десятилетие.

Демонстрируемая набожность принцепса самым невероятным образом сочеталась с компанией по возвеличиванию «сына бога». И если прежде Октавиан отличался личной скромностью, то теперь в городе как грибы стали множиться его статуи и бюсты. Его непритязательность в быту уступила место тяге к роскоши. На Паллатине началось строительство нового грандиозного дворцового комплекса, куда вошли личные апартаменты принцепса и покои членов его семьи, церемониальный дворец для государственных приемов, храм Аполлона с алтарём и портик Данайды, который замышлялся как новый Форум. Здесь же были спланированы библиотека, санктуарий – святилище и просторная терраса с видом на цирк Массимо.

Место для будущего строительства, как объявили об этом глашатаи, определила молния, ударившая в землю во время первой в этом году невиданной по мощи грозы. И этот знак Август посчитал прямой волей богов.

Однажды о его будущей библиотеке со мной заговорил Агазон:

– Полагаю, что принцепс приложит все усилия, чтобы его собрание свитков стало лучшим и затмило все остальные библиотеки, как солнце затмевает свет звёзд, как сам Август затмил всех в Сенате... Да, уже совсем скоро Поллиону придётся смириться с тем, что его библиотека – не единственная в своём роде, и далеко не самая первая... Равно как мне придётся свыкнуться

с тем, что ты больше не будешь работать в этом зале... Думаю, что Август уже присмотрел для тебя важную должность в своей библиотеке... А следовательно, расставание наше неизбежно...

Мудрый Агазон оказался прав: нам и в самом деле вскоре пришлось расстаться. Но произошло это совсем по иной причине.

В конце весны Август неожиданно заболел. Острый приступ неведомой болезни случился у него в тот день, когда я проводил занятие с детьми.

В класс посреди урока вбежал Талл. Он передал приказ Ливии занятие немедленно прекратить и увёл детей в их комнаты, сказав мне отправляться в библиотеку.

Я, недоумевая о причинах срыва уроков, быстро прошёл к выходу для слуг, но там меня остановил центурион из личной охраны Цезаря и приказал мне возвращаться в таблинум, где собирается вся прислуга.

В коридорах дома царила необычная суматоха. Туда-сюда сновали рабы с сосредоточенными лицами. У лестницы, ведущей на второй этаж, к личным покоям Августа, появился вооружённый дротиками и мечами караул преторианцев. Обычно гвардейцы охраняли только наружные двери, а проход по всему дому оставался свободным...

Тут же переминались с ноги на ногу несколько эскулапов. Мне были хорошо известны, как завсегдатаи библиотеки Поллиона, Антоний Муса, ученик целителя Темиссона, и его не менее знаменитый брат Евфторб, личный врач нумидийского царя Юбы, который прибыл в Рим по приглашению Августа. Именно за Юбу была недавно сосватана взятая в плен юная дочь Клеопатры и Антония – Селена.

До меня донеслись обрывки фраз озабоченных врачей:

– ...пропустите нас немедленно! Сама госпожа... мы обязаны...

– ...такая слабость, это, возможно, от перенапряжения...

– ...нет, брат, думаю, что это печёночные колики...

– ...да с вас шкуру сдерут, если...

Преторианцы, преграждавшие путь, так и не вняли мольбам, пока из покоев не выглянул Пол и громко не распорядился пропустить врачей. При этом всегда самодовольное лицо Пола выражало крайнюю степень испуга.

Врачи взбежали по лестнице и скрылись за дверями спальни цезаря.

Вслед за ними туда же поднялись мрачные Меценат и Агриппа.

В таблинуме, куда я прошёл, собрались домашние рабы и те немногие посетители, кто, подобно мне, оказался в доме Августа в этот час. Нам объявили, что всем запрещено покидать домус до особого распоряжения, а подошедший Талл определил каждому гостю место, где ему предстоит находиться. Мне он приказал идти за ним.

В канцелярии, где располагались личные секретари Августа, Талл объявил:

– Ты будешь помогать мне, пока снова не начнутся занятия... Это распоряжение гос-пожи...

В доме Августа я безвылазно провёл почти две недели.

Всё это время врачи боролись за жизнь Цезаря, а я помогал секретарям разбирать и переписывать бумаги.

Августа никогда не отличался особо крепким здоровьем, но на этот раз болезнь его оказалась крайне опасной и, похоже, даже смертельной.

Мне поручили сделать копии списков родословной самого Августа, его дочери Юлии, супруги Ливии и её детей. А это верный признак того, что ближнее окружение Цезаря всерьёз озаботилось вопросом о наследнике.

По римским законам единственная дочь Цезаря Юлия наследовать власть не могла, это право принадлежало лишь родным сыновьям, которых у него не было... Да, у Августа были пасынки, но к кому из них перейдёт власть в случае смерти Цезаря, оставалось неясным. Август

до сего дня не определился с завещанием, что могло вызвать волнения в народе, кривотолки в Сенате, а то и привести к государственному перевороту.

Необходимо было срочно сделать выбор.

Уже через пару дней Пол, под диктовку Ливии, написал текст указа о назначении принцепсом своих преемников, и Август слабеющей рукой подписал указ и передал свой перстень с печатью Агриппе...

Мы с Таллом делали копии с этого указа, поэтому раньше других узнали, что своими наследниками Август определил Друза и Тиберия, а до их совершеннолетия полноту управления государством поручил верному Агриппе.

Наследники указывались именно в такой последовательности: сначала – младший пасынок Друз, а старший – Тиберий только во вторую очередь. И хотя в этом просматривалась явная несправедливость, но даже Ливия, всегда отдававшая предпочтение старшему сыну, приняла завещание как должное.

Жрецы уже начали подготовку к похоронному обряду, и всё в домусе погрузилось в траур, но Август неожиданно пошёл на поправку.

Перелом наступил тогда, когда Антонию Мусе пришла мысль лечить больного не общепринятыми горячими ваннами, а, напротив, ледяными. Вторым действенным и спасительным средством оказалось голодание. Цезаря несколько дней кормили только свежими листьями салата и давали обильное питьё. И Август вдруг пошёл на поправку.

Придя в себя, он первым делом приказал Агриппе вернуть его императорский перстень...

А ещё через несколько дней, когда угроза жизни Августа вовсе миновала и он начал вставать с постели, всем невольным гостям домуса позволили покинуть его.

На улице я, как будто впервые, увидел небосвод – голубой и яркий, вдохнул всей грудью свежий ветер, порадовался ласковому шелесту листвы на серебристых тополях.

Меня окликнул Тит – мой давний знакомый, переписчик из римского зала библиотеки Поллиона. В дни, когда я вёл уроки, он обычно помогал Агазону.

– Слава богам, ты наконец объявился... Уже третий день караулю тебя и прошу вызвать... А эти солдафоны, – он кивнул в сторону преторианцев, стоящих на часах с каменными лицами, – всё время отказывают...

– А что случилось? – Его тревога передалось мне.

– Старый Агазон очень плох. Несколько дней не встаёт со своего ложа, отказывается от еды и питья, бредит и клянёт всех богов... А когда приходит в себя, всё повторяет твоё имя, зовёт, боится, что не успеет проститься навеки...

2

Агазон прощался со мной «навек» уже в который раз. Случалось это тогда, когда старый грек выпивал лишнего.

Надо сказать, что в последнее время он стал ярым поклонником идей Эпикура. Однако из обширного философского наследия своего земляка, включающего и учение о природе, и канонику, и этику, культивировал любовь к уединению и к питию...

Следуя этому принципу, пил он всегда в одиночку, употребляя вина без разбору: дешёвое ретийское и дорогое цекубское, редкое для здешних мест масикское и популярное среди римлян фалернское. Не отвергал и слегка горчачее иберийское, привезённое из солнечной Испании, и кисловатые на вкус вина с севера. Если же он чему-то и отдавал хоть какое-то предпочтение, так это греческим винам: белому коскому, за целебные качества называемому «эскулаповым», и нежному на вкус линдскому с острова Родос. Но и тут говорить о пристрастии не совсем верно – выпивал Агазон столько, что вряд ли мог разобрать вкус и цвет того, что поэты воспевают как забродивший сок янтарной лозы.

В первый раз, узнав, что мой старший друг и наставник находится при смерти, я помчался к нему со всех ног. Я бежал с такой скоростью, что обогнал бы, наверное, знаменитых олимпийцев.

Запахавшись, примчался в библиотеку и сразу прошёл в его «закуток» – небольшую комнату, примыкающую к дальней стене греческого зала и служившую Агазону жильём.

В теснённом воздухе замкнутого пространства витали винные пары, такие густые и тяжёлые, что мне стало дурно. Я распахнул окно и огляделся.

В комнате царил жуткий кавардак. На трёхногом столике подле кровати стояли пара пустых кувшинов, глиняная кружка с вином, рядом лежали несколько маслин, корка ржаного хлеба и надкусанное яблоко. Ещё два опустошённых сосуда валялись на полу среди груды брошенных тут же одежд.

Агазон, явно навеселе, безмятежно возлежал на узкой кровати в углу.

– А-а-а, пришёл... – увидев меня, заплетающимся языком пробормотал он и тут же выдал цитату из своего любезного Эпикура: – Всегда работай, юноша! Всегда! Л-люби работу и веселье! Не жди от людей благодарности и не огорчайся, когда тебя не благодарят... Предпочитай наставление вместо ненависти, а улыбку вместо презрения... Из колючей крапивы извлекай нитки, из горькой полыни – лекарство... Нагибайся только затем, чтоб поднять павших... Зап-помни: ум выше самолюбия. Спрашивай себя каждый вечер, что сделал ты хорошего. Вещами не дорожи. Вещи – пр-рах! Имей перед собой книгу, цветок в саду и амфору с вином в погребё...

Он начал жаловаться на свои болезни, вдруг сбившие его с ног, на внезапную слабость, слепоту и глухоту, предлагал мне попробовать вина и обиделся, когда я отверг это предложение...

Когда он протрезвел, я спросил:

– Зачем ты губишь себя, учитель?

Он даже не заметил столь почтительного обращения и сердито пробубнил:

– Ты ничего не понимаешь... У старости есть одно непреложное право – не стыдиться потакать своим слабостям, ибо завтра этой возможности у неё может и не быть вовсе...

– А как же быть с рассуждениями о свободе, которую даёт нам победа над страстями и привязанностями?

Он коротко и хрипло хохотнул и произнёс без тени всякого смущения:

– Ты забываешь ещё об одной привилегии моего возраста – не помнить даже то, что говорил накануне... Давай-ка лучше прямо сейчас простимся с тобой, юноша! – Он по-прежнему именовал меня так же, как в день нашего знакомства. – Простимся навеки! Ведь даже Зевс-громовержец не знает: удастся ли нам сделать это завтра... – И заключил меня в свои сухие объятия: – А теперь послушай, что надлежит тебе сделать в день, когда я отойду к праотцам...

Так мы с ним прощались за разом раз, и всегда навсегда. Я терпеливо выслушивал одни и те же указания, которые должен исполнить после его кончины. Суть их сводилась к немногому: какие его рукописи мне надлежало взять себе, кому раздать его нехитрые пожитки, как именно проводить его в последний путь...

Признаюсь честно, при всём уважении к Агазону эти пьяные и похмельные прощания изрядно надоели мне. Мне казалось, что Агазон просто издевается надо мной, шутит, как тот мальчик-пастух из легенды, который всё кричал про волка, ворующего овцу, когда никакого волка и в помине не было.

В конце концов я рассердился не на шутку:

– Однажды ты умрёшь по-настоящему, а я возьму и не поверю в твою смерть!

...Всё это припомнилось мне, пока мы с Титом скорым шагом шли к библиотеке Поллиона.

Агазон лежал на кровати в своей комнате.

Но одного взгляда хватило мне, чтобы понять: на этот раз всё происходящее уже не плод его фантазии и совсем не шутка: богиня смерти прекрасная Либирина уже присела на краешек его ложа и своим тёмным, прозрачным покрывалом провела по его челу... Щёки и без того худого Агазона ввалились, лицо приобрело землистый оттенок, а под глазами проступили тёмно-синие полукружья.

Он был абсолютно трезв и серьёзен.

– Ты долго шёл, юноша... Я мог и не дожидаться тебя... ноги стыннут... – посетовал он вместо приветствия.

Говорил Агазон медленно, отделяя слова, одно от другого, чувствовалось, что они даются ему с трудом.

Я присел на ложе и взял его холодеющую руку.

– Жизнь прошла... А для чего? Всё бессмысленно... – тяжело вздохнул он.

– Вы не правы, учитель. А ваши знания, ваши мысли, ваши рукописи...

– Люди глупы... Они живут бессмысленными надеждами, живут, полагая, что однажды достигнут своей цели... Они не понимают главного: никакая цель не имеет значения... Важно только движение к ней...

Он закрыл глаза и надолго замолчал. Потом еле слышно произнёс:

– Под подушкой... возьми... это тебе, юноша...

Я послушно извлёк жёлтый свиток, туго перевязанный алой бечевою, и отложил в сторону.

Агазон, собрав последние силы, чуть слышно пролепетал:

– Прощай, юноша... Помни меня... А я там, куда иду, тебя не забуду... Никогда...

Он снова закрыл глаза. Дыхание его пресеклось, а когда возобновилось, стало вырываться из груди всё реже и реже, пока совсем не угасло. Мышцы его ещё мгновение назад живого лица расслабились, придавая лицу Агазона некую завершенность. Именно такими бывают лики у статуй героев и богов. И вместе с отстранённостью и величием проступило в нём что-то неуловимо детское, безмятежное...

Я поднёс к губам Агазона бронзовое зеркало. Оно осталось чистым, незамутнённым...

Слёзы сами собой покатались по моим щекам. Я заплакал навзрыд и не стыдился своих слёз. Умер мой единственный друг, мой учитель, мой второй отец... И я оплакивал его так горько, как будто отдавая долг всем тем, кого не смог оплакать прежде: своим родным и наставникам, погибшим от рук наёмников Фраата, моим боевым товарищам, павшим на поле боя и пропавшим в застенках у римлян...

Когда поток слёз иссяк, я отыскал среди вещей Агазона сестерции, отложенные им для похорон, и отправил Тита в храм Венеры Либирины, где хранились погребальные принадлежности. Он понёс жрецам заявление о смерти вольноотпущенника Агазона и необходимые деньги для подготовки тела к кремации.

Конечно, я не мог проводить учителя в последний путь так, как провожают знатного римлянина – с пышной похоронной процессией и многочисленными плакальщицами, но и позволить ему быть похороненным как последнему бедняку я тоже не хотел.

Мне доводилось не однажды видеть, как обыденно и неприглядно это происходило. На узких носилках в виде открытого сундука с ручками тело бедняка в жалкой, истёршейся тоге четыре раба выносят в поле за Эсквилинские ворота и сбрасывают в один из множества склепов. Из-за круглой отдушины, сделанной в верхушке свода, эти склепы в народе зовут «маленькими колодцами». Каждый вечер один из таких «колодцев» открывается для всех покойников, которых принесут в этот день. Кладбищенские служители бросают туда тела усопших, предварительно сняв их утлые одежды, и не гнушаются взять у покойника из *орбиты* – мелкую монету, положенную для уплаты Харону за переезд на тот свет. Когда склеп наполняется доверху, его закрывают каменной плитой, припечатывают её снаружи смолой и открывают

склеп только через год, когда трупы в нём уже высохнут. Потом высохшие останки сжигают целыми кучами, прах развеивают по ветру, а опустевший склеп заполняется снова.

...Агазона похоронили достойно. Тело его обмыли, забальзамировали и на третий день предали огню на костре, разожжённом близ Аппиевой дороги. Урну с его прахом я, получив разрешение у Ливии, поместил в двухэтажном колумбарии, устроенном ею для вольноотпущенников здесь же, неподалёку. На мраморной плите, закрывающей ячейку в стене, выгравировали имя Агазона и слова так любимого им Эпикура: «Смертный, скользи по жизни, но не напирай на неё».

Только исполнив свой долг, я развернул свиток, оставленный мне Агазоном. Он оказался совершенно чистым. Сначала я подумал, что это тайнопись, сделанная соком льна или козьим молоком. Но и подержав свиток над открытым огнём, никаких записей не обнаружил.

Что хотел сказать старый грек этим чистым свитком? Может быть, давал понять, что процесс познания бесконечен, что я и впредь должен учиться у великих мудрецов, чтобы однажды заполнить чистый лист моего сознания? Или же намекал, чтобы я сам взялся за стило и записал на свитке свои размышления о мире?

Но, увы, боги не дали мне ни таланта Гомера, ни способностей Страбона...

Поразмыслив, я предположил, что подарок Агазона – это подсказка. Моё будущее остаётся открытым, ибо ни греческий Зевс, ни парфянский творец Горомаз, ни римский небожитель Юпитер ещё не прочертили до конца на пергаменте жизни линию моей судьбы...

3

Некоторые события оставляют в памяти зарубки, подобные отметинам от плети надсмотрщика на теле раба. Эти следы сохраняются надолго, с той лишь разницей, что со временем уже не причиняют физической боли...

Любимый ученик Сократа Антисфен утверждал, что для человека самая необходимая наука – умение забывать ненужное. Но он не разъяснял, что должно считать «нужным», а что можно отнести к «малозначимому» и напрочь вычеркнуть из памяти...

Память моя, как лавка торговца из солнечного Индостана, переполненная сладостями и специями, благовониями и пёстрыми тканями, под завязку оказалась забита цитатами из древних греческих рукописей и сюжетами собственных воспоминаний. Обрывки случайных разговоров, мозаика картин из близкого и далёкого прошлого, грёзы о будущем...

С каждым годом моя «копилка» всё больше наполнялась фактами, событиями, мыслями... Они не давали мне покоя. Чтобы избавиться от их власти надо мной, я стал записывать всё значимое на восковую табличку, взяв за отсчёт день смерти Агазона.

Спустя год Юл Антоний достиг совершеннолетия и перестал ходить на уроки. Принцепс доверил ему жреческую магистратуру и пообещал руку своей племянницы Клавдии Марцеллы Старшей. Вместе со своими сестрами, Юлией, Тиберием и Друзом она до поры до времени ещё продолжала учёбу, но упражнения в греческом и латыни её интересовали куда меньше, чем предстоящая свадьба. Ещё бы – такой красавец, как Юл Антоний, достался ей, а не этой задавке Юлии...

Прежде я замечал особое расположение Юлии к Юлу Антонию. Но решение о предстоящем замужестве двоюродной сестры она восприняла на удивление спокойно. Вполне возможно, что её детская влюблённость тут же закончилась, как только предмет воздыхания исчез из поля зрения.

Она за последнее время изменилась. Под её девичьей столой явно обозначилась грудь. Однажды на занятиях Юлия вдруг потеряла сознание. Рабыни унесли её в покои, и несколько дней Юлия не приходила в класс. Эскулап успокоил, что ничего страшного нет, что такое нередко бывает, когда девочка взрослеет.

И правда, через несколько дней Юлия, пышущая здоровым румянцем, появилась на уроках.

Вскоре Талл, ставший главным секретарём вместо Пола, впавшего в немилость, сообщил, что Цезарь собирается выдать Юлию замуж за своего племянника Марка Клавдия Марцелла.

Это была уже третья её помолвка. Ещё малым ребёнком Юлию обручили с сыном Марка Антония и Фульвии – Антиллом, в ту пору десятилетним мальчиком. Однако после поражения Марка Антония наречённый жених Юлии был обезглавлен по приказу несостоявшегося тестя. Вторым претендентом считался гетский царь Котизон, но и он неожиданно погиб при неясных обстоятельствах.

Мне стало страшно за судьбу нового жениха, которому едва исполнилось шестнадцать.

– А сам Марцелл желает стать мужем Юлии? – спросил я у Талла.

Он усмехнулся с чувством явного превосходства надо мной, ничего не понимающим в большой политике:

– Сливу никто не спрашивает, кем она хочет быть съедена за обедом. Цезарю нужен наследник, связанный с ним родственными узами теснее, чем его пасынки. Этим наследником вполне может стать законный супруг его родной дочери и к тому же – сын его любимой сестры. Всё остальное – эмоции, а они в вопросах государственных никакой роли не играют...

Юлия вскоре оставила класс. Уроками с ней занялась Ливия, наставляя падчерицу всему, что необходимо замужней матроне: умению ткать, вышивать, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, наказывать рабов...

Незадолго до этого случился один памятный разговор.

Тиберий, превратившийся из угловатого, замкнутого мальчика в коренастого и вечно угрюмого подростка, однажды после урока негромко спросил меня:

– Учитель, а всем обязательно жениться?

На неожиданный вопрос я не сразу нашёл нужный ответ.

– Конечно, Тиберий. Все свободные граждане Рима обязаны иметь семью, – стараясь говорить как можно уверенней, заметил я. – Ещё сто лет назад цензор Метелл Македонский утверждал: «Если бы мы могли жить без жён, не было бы у нас никаких хлопот. Но коль скоро природа установила так, что с жёнами жить трудно, а без них невозможно, думать следует скорее о продолжении рода...» Одним словом, когда придёт твой час, женись, Тиберий, женись непременно. Если попадётся хорошая жена, будешь исключением из правил, а если плохая – станешь философом...

Тиберий исподлобья вперил в меня пронизательный светло-серый взгляд:

– Я знаю и слова Метелла Македонского, и изречение Сократа, учитель. Но я вовсе не хочу стать философом. Я буду воином. Сначала великим воином, а потом...

Он сделал паузу, словно размышляя, продолжать ли откровения.

– Он хочет стать Цезарем, учитель... Я точно знаю! Не правда ли, Тиберий? – вдруг из-за его спины выпалила Юлия.

– Ты что подслушиваешь? – возмутился Тиберий.

– Ха-ха! Ты хочешь стать Цезарем! Ты никогда им не станешь! Потому что ты не родной сын моему отцу... – Она презрительно поджала свои пухлые губки, точно так же, как Ливия, когда была раздражена.

– Ты ничего не понимаешь, девчонка! Я буду Цезарем! – зло парировал Тиберий. Лицо его побелело, а глаза метали такие молнии, что позавидовал бы сам Юпитер-громовержец.

Юлия продолжила как ни в чём не бывало:

– Ты никогда не будешь Цезарем, мой бедный и не родной братец Тиберий! Напрасно стараешься! Никакими стараниями не получить того, что тебе не дано... А я – подлинная дочь Цезаря и буду женой Цезаря! Правда, учитель? Скажи ему! – перевела она на меня свой искристый взгляд, моментально утративший колкость.

Я уклонился от прямого ответа:

– Конечно, Юлия: зачастую царями мужчин делают женщины. Но помни, о чём предупреждают мудрецы: они же царей и губят...

– Я помню, учитель, глупые слова Гомера: «Нет ничего пагубнее женщины...», но я так не считаю! И вообще, что мог этот слепец знать о нас, женщинах? – Она горделиво повела плечами и стремительно удалилась.

Я попытался успокоить Тиберия, но он не стал меня слушать. Сжал кулаки и выбежал из класса вслед за ней.

«Женишься ты или нет, всё равно раскаешься... Не приведите боги, чтобы этих двоих судьба когда-нибудь свела вместе!» – подумал я.

Боги уготовили им разное: Юлия окунулась в подготовку к свадьбе, а Тиберия гораздо раньше положенного возраста Август назначил квестором и поручил инспектировать тюрьмы для рабов и контролировать поставки зерна.

К моей учительской гордости, Тиберий в качестве квестора несколько раз удачно выступил с обвинительными речами в суде и перед Сенатом и даже снискал славу подающего благие надежды молодого оратора.

Не успели сыграть пышную, семидневную свадьбу Юлии с хилым и болезненным Марцеллом, как Август отправился в испанские провинции, где вспыхнуло очередное восстание кантабров и астуриков. В этот поход Цезарь неожиданно для своего окружения взял Тиберия, назначив его военным трибуном.

Я ещё некоторое время продолжал давать уроки риторики младшему сыну Ливии Друзу и его ровесницам-кузинам. Но вскоре был освобождён от этих занятий и назначен заведовать греческим залом в библиотеке принцепса.

Эта библиотека, как и предсказывал незабвенный Агазон, превзошла по своей красоте, величию, а также по числу хранимых здесь рукописей отошедшую на второй план библиотеку Поллиона.

4

Какое счастье – остаться наедине со свитком древней рукописи, где начертаны мудрые письма! Ранним летним утром, когда неумолчно звенят в пышных кронах за окнами библиотеки суетливые птицы, или в сумрачный осенний вечер, когда, потрескивая, сгорает масло в луцерне – лампе из терракоты, и пламя зыбко колыхнется на сквозняках, неровно освещая пергамент, нет ничего лучшего, чем чтение...

В жаркий полдень и в пору дождей, в январские иды и в майские календы – словом, в любое время года происходит этот незримый разговор с умнейшими людьми прошлого или с талантливыми современниками, сумевшими принять творческий дар богов и прикоснуться к вечности...

Следуя мыслью за великими мудрецами, я забывал о времени, ощущая себя снова юношей, постигающим мир, беспечным и счастливым. Это давало мне такое чувство свободы, какое я не испытывал, будучи на самом деле свободным, знатным и богатым... Как тут не вспомнить любимого Агазоном Эпикура, утверждавшего, что довольство своим и есть величайшее из всех земных богатств...

Между тем жизнь за стенами библиотеки шла своим чередом.

Победителями вернулись из Испании Август и Тиберий. Вскоре неожиданно умер муж Юлии Марк Клавдий Марцелл, так и не успев сделать свою юную жену матерью...

Когда в 731 году от основания Рима в городе начался голод, стали распространяться слухи, будто неурожай и сопутствующее ему сильное наводнение ниспосланы богами из-за того, что Август оставил должность консула. Испуганные горожане стали массово просить

Августа принять должность обратно и совместить её с полномочиями диктатора, отменёнными после убийства Гая Юлия Цезаря.

Особо горячие сторонники Августа предложили ему стать пожизненным консулом и даже добились, чтобы в Сенате между двумя курульными креслами правящих консулов для Цезаря установили третье, специальное кресло, больше похожее на царский трон. Наконец, Августу доверили право помилования, лишив римлян, осуждённых судом, возможности испрашивать его у народного собрания...

Но все эти знаки практически императорской власти, равно как и умело подогреваемые сподвижниками всплески народной любви не смогли убаюкать главную тревогу за будущее. У Цезаря по-прежнему не было прямых наследников. Их могла дать только дочь Юлия.

В очередной раз, не спросив согласия, венценосный отец через год после смерти Марцелла выдал Юлию замуж за Марка Агриппу, который уже дважды попадал в ловушку Гименея и к тому же был старше Юлии на четверть века.

Последние несколько лет Агриппа занимал пост наместника в Сирии. Своей почётной ссылкой он был обязан хитроумным интригам Ливии. Она всегда опасалась сильного и прямодушного полководца, чья слава затмевала скромные воинские подвиги её мужа, а звание самого давнего и преданного друга Августа давало возможность прямо излагать своё мнение. Удалив Агриппу из Рима, Ливия минимизировала его влияние, способное соперничать с её собственным.

Впрочем, охлаждение между старыми друзьями оказалось недолгим. А женитьба Агриппы на дочери Августа сводила все прежние усилия Ливии к нулю.

Ливия срочно предприняла встречный «манёвр» – уговорила Августа устроить ещё один брак, и вскоре глашатаи с ростров Форума объявили о свадьбе Тиберия и дочери Агриппы Випсании.

Однажды Ливия приказала мне явиться к ней.

– Хочу, чтобы рядом с Тиберием всегда находился человек рассудительный. Таким я полагаю тебя... – без всяких предисловий заявила она.

Прочитав в моих глазах немой вопрос, пояснила:

– Ты больше не раб Августа. Ввиду предстоящего бракосочетания моего сына Август подарил тебя Тиберию...

– Мне идти в дом моего нового господина? – поинтересовался я, зная, что Ливия купила для Тиберия дом на Палатине. Скромный по сравнению с хоромы отчима, но вполне изящный на вид, этот дом располагался неподалёку от дворца Августа, между храмом Великой матери и Форумом.

– Оставайся пока в библиотеке! – приказала она. – Если ты потребуешься моему сыну, тебя сразу найдут...

От Ливии я вышел в некотором недоумении: зачем нужно передавать меня Тиберию, если я сам и жизнь моя и так всецело принадлежат семье Цезаря. И не важно, кто мой хозяин. Ибо, сменив одного на другого, я всё так же не принадлежу самому себе. И это угнетало меня.

Правда, рабство моё вовсе не было похоже на горькую участь многих десятков и сотен тысяч несчастных, закованных в цепи, истязаемых плетью и палками на каменоломнях, в полях и на мельницах, подобных мельнице Вентидия Бассса. А доля изнурённых гребцов на галерах или гибельная, готовая каждый час оборваться судьба гладиаторов на аренах и ристалищах...

В каких же райских условиях по сравнению со всеми страждущими и истязаемыми я жил. Имел крышу над головой и вполне сносную пищу, обладал относительной свободой передвижения, занимался хотя и подневольным, но уже ставшим для меня родным делом: составлял каталоги, разбирал и приводил в порядок пергаменты, переписывал рукописи, постигал вековую мудрость, пытаюсь сохранить её для тех, кто придёт в этот мир после нас...

Изредка ко мне обращались мои бывшие ученики или их друзья и знакомые. Молодые аристократы присылали раба с запиской, в которой требовали подыскать цитату для речи в Сенате или в суде, найти поэтический образец для любовного послания. Мне не составляло труда сделать это. Отыскав нужную цитату, я заносил её на восковую табличку, и посыльный снова оставлял меня наедине с драгоценными рукописями.

Череду однообразных, но оттого не менее насыщенных дней прерывали редкие приходы в библиотеку Талла.

Август не так давно даровал ему свободу, римское гражданство и назначил заведовать своей канцелярией вместо Пола, которого окончательно удалил от себя и направил управляющим в одно из многочисленных загородных имений.

Талл ужасно гордился своим новым положением. Нарочито выставляя вперёд палец с подаренным принцепсом серебряным перстнем, он то и дело доставал судариум, похожий на тот, что был у Пола, и осторожно прикладывал его ко лбу с залысинами, к округлившимся щекам. Округлился не только сам Талл, но и его жесты. Речь стала вычурной и напыщенной.

Цель его визитов довольно долго оставалась для меня тайной. Приходил Талл в библиотеку просто поболтать, как будто ни о чём. Он вроде бы и не шпионил за мной, и не делал гнусных намёков, как Пол.

Догадка пришла неожиданно. Возможно, Таллу нужно было продемонстрировать своё превосходство над кем-то из его бывшего окружения, не опасаясь при этом подвоха или конкуренции.

Я со скрытой иронией наблюдал за метаморфозами бывшего тихони и молчуна Талла, но терпеливо выслушивал его рассказы о происходящем в окружении принцепса. Политические новости и дворцовые сплетни оказались не только довольно занятыми, но и полезными.

Конечно, больше Талл говорил на темы отвлечённые и бытовые: рассуждал о еде, одежде, пересказывал анекдоты из жизни высшей знати...

– На свадьбе у благородного Тиберия и прекрасной Випсании, где мне довелось побывать, – хвастался он, давая понять, что мне такая высокая честь и не снилась, – пир был такой, каких я ещё не видал. А ты знаешь, видеть мне довелось немало...

Я, сдерживая ироническую улыбку, кивнул.

Талл принялся описывать пиршество, причмокивая от удовольствия:

– На первое подавали кабана из Лукки, приготовленного в рыбном рассоле, с сельдереем, острой репой, редькой и латуком. Всё это подавалось в блестящих чашах и на таких же блестящих подносах. В дивных серебряных кувшинах разносили косское вино. Я и сейчас ощущаю незабываемый вкус. К тому же каждый из пирующих получил в подарок по серебряному кубку с инкрустацией на память о столь значимом событии... – Талл перевёл дыхание и продолжил: – А затем рабы, один прекраснее другого, протёрли столы пурпурными полотенцами, принесли запечённых перепелов и рыб, блюда с раками и устрицами. К устрицам подавалось албанское вино... Это было неповторимо, я не видел ничего подобного! До сих пор, когда я вспоминаю об этом, у меня желудок начинает ёкать... – похвастался он и спросил: – Ты когда-нибудь в своей Парфии ел мурену, сваренную в соусе из креветок, гиберской рыбы и хиосского вина? А что ты скажешь о жареном журавле или печени жирного гуся, откормленного отборными фигами?

Я не успевал отвечать на его вопросы. Талл продолжал сыпать гастрономическими подробностями, исторгая их из себя как из рога изобилия:

– Ну как я могу забыть великолепную заячью лопатку в белом соусе или запечённых диких голубей, приготовленных без гузок в соке морских раковин? Даже блистательный Меценат, который сам славится отменными пирами, не удержался от похвалы этому празднику чревоугодия... А потом нас ублажали музыканты из школы Тигеллия Гермогена и пели гетеры, подобные мифическим сиренам... О, как бесподобно звучали флейты, лиры, кифары и сам-

буки, как сладко вторили им голоса жриц любви! – Талл, приняв позу трагика, запел визжащим фальцетом:

Увенчай своё тело цветами и майораном;
Возьми фламеум, приди сюда, приветливое божество,
Приди в жёлтой сандалиии на белоснежной ноге.
Увлечённый веселием, присоедини свой голос к нашей песне!
Гимен, о Гименей, Гимен, явись, Гименей!
Своей лёгкой стопой ударь о землю,
Взволнуй своей рукой пламя горящей сосны!
Призови в жилище ту, что должна здесь царить.
Пусть она возгорится желанием к своему молодому мужу,
Пусть любовь увлечёт её душу,
Пусть обовьёт его она, как плющ обвивает вяз...
Гимен, о Гименей, Гимен, явись, Гименей!..

Он пел так фальшиво и так комично корчил при этом гримасы, что я не выдержал и расхохотался. Но, упоённый собственным пением и сладкими воспоминаниями о весёлой свадьбе, Талл воспринял мой смех как зрительскую овацию и, едва закончив куплет, продолжал без всяких пауз:

– Всем гостям особенно понравились сцены из супружеской жизни, которые представляли любимые мимы Августа: Пилад из Киликии и Батилл из Александрии... Они так виртуозно кувыркались, изображая любовные утехы, что большинство присутствующих, не вставая с ложа, взялись повторять их со своими соседями...

Я поморщился и попытался прервать поток его красноречия:

– Подобные нравы не вызывают во мне восторга...

Он произнёс назидательно:

– Ты не понимаешь! Это высшая свобода, всеобщее братство...

– На моей родине это называют по-другому... И я никогда...

– О, весьма кстати ты вспомнил о своем отечестве... Ты знаешь, из бесед моих знатных соседей по пиршественному столу я узнал одну новость. Важную для тебя...

– Неужели всем рабам даруют свободу? – усмехнулся я.

Талл обиженно поджал губы и со значением произнёс:

– Август скоро двинется на Восток. В поход он берёт с собой благородного Тиберия, твоего господина.

– Ну и что?

– Ты не понимаешь, – рассердился Талл. – Я абсолютно уверен, что тебе придётся сопровождать Тиберия.

– Да он ни разу не заговорил со мной после того, как стал моим хозяином! Зачем ему я вдруг понадоблюсь, тем более в походе?

Талл окинул меня снисходительным взглядом:

– Да потому, что цель этого похода – твоя Парфия...

5

В ночь после разговора с Таллом я не мог уснуть до рассвета. Известие о скором походе Августа против узурпатора Фраата не давало мне покоя.

Если боги будут благосклонны, думал я, то скоро отправлюсь на родину, а узурпатор Фраат понесёт заслуженное наказание...

Правда, Фраату и так в последнее время пришлось несладко: несколько лет назад его сверг новый узурпатор – Тиридат II, тот самый, что сумел победить Марка Антония во время парфянского похода. Тиридат сразу же попытался установить добрые отношения с Августом и даже отчеканил собственную монету, где под его профилем демонстративно значилось: «Друг римлян». Но римляне заключать с ним союз не спешили. Это приободрило Фраата. Он собрал остатки войска и, заручившись поддержкой саков, вступил с Тиридатом в войну за возвращение трона. В открытом сражении Тиридат потерпел поражение и бежал, но при этом сумел похитить у Фраата сына – Фраата-младшего и теперь снова торговался с Римом, моля о помощи в борьбе с Фраатом, а в обмен обещал передать Фраата-младшего в руки Августа.

Во мне не было ни толики сочувствия к узурпатору Фраату, и желание отомстить ему ничуть не притупилось, но я искренне жалел малолетнего царевича, ставшего разменной монетой во взрослых играх. Судьба его чем-то напоминала мою собственную...

Я переживал, как встретит меня родина, сама память о которой за прошедшее время стала призрачной, как мираж в сирийской пустыне...

Суровой реальностью представлялась мне грядущая битва римлян с парфянами. Даже сражаясь под стягами Фраата, парфяне всё же мои соотечественники, и над ними на древке всё ещё герб моей родины – золотой орёл с расправленными крыльями, держащий в клюве поверженную змею...

Пресмыкающейся тварью ощущал я себя этой ночью, не представляя, как вынести новое испытание – взирая на сражение с вражеской стороны, не в силах помочь своим землякам...

Эти мысли, перехлёстывая одна другую, не давали покоя, заставляли, ворочаясь на жестком ложе, снова и снова возвращаться к давно прошедшим событиям и, может быть, впервые за долгие годы пытаться предугадать будущее.

Когда же при брезжущем утреннем свете бог сна Гипнос всё-таки овладел мной, приснился мне отец – фратарак Сасан.

Подобно самому Морфею – сыну Гипноса, отец предстал в чёрном кафтане с рассеянными по нему золотистыми звёздами, в руках он держал кубок с маковым соком, из которого дал мне отхлебнуть пьянящей жидкости. Он взял меня за руку и повёл через ворота из слоновой кости к сияющей льдом горной вершине. Я догадался, что там, наверху, среди вечных льдов, дворец бога-отца Ахурамазды, где он обитает со своей женой и матерью всего сущего – богиней-девственницей Анахитой и богом-сыном Митрой, особенно почитаемым у нас в Парфии.

Мы шли по равнине, похожей на ту, по которой скакали когда-то с отцом на наших такал-теке. Но скоро дорога сделалась круче, каменистее, а камни под нашими ногами – острее и неустойчивей. Отец вдруг отпустил мою руку и быстро пошёл вперёд. Он шагал так широко и стремительно, что, как ни старался я поспевать за ним, стал всё больше отставать. Между тем широкая горная дорога превратилась в узкую тропу, а после вовсе пропала среди нагромождения огромных валунов. Отец двигался, уже почти не касаясь их ногами, перелетая с валуна на валун. Наконец путь нам преградила отвесная скала, вершину которой окутывали густые свинцовые облака. Отец стал карабкаться вверх по её гладкой поверхности, извиваясь всем телом, юрко, словно ящерица. Я понял, что не смогу забраться вслед за ним, и закричал: «Отец, дай мне руку!» Он обернулся и, отрицательно покачав головой, продолжил подъём. «Не оставляя меня здесь, отец!» – умолял я, но он больше не оборачивался и скрылся в облачной хмари...

Я проснулся с дурными предчувствиями. Сон всё не выходил у меня из головы: «Почему отец не дал мне руку? Почему оставил одного?»

Около полудня пришёл раб с приказом от Тиберия немедленно собираться в путь. Прогноз опытного царедворца Талла оказался верным – моему юному господину потребовался знаток языков, и он наконец вспомнил обо мне.

Мы отправлялись на Восток. Проныра Талл оказался не прав только в одном – целью похода Августа была не столица Парфии – Ктесифон, а далёкие армянские провинции. Они уже много лет принадлежали Фраату и управлялись его ставленниками. Именно в эти провинции Август и повёл свои легионы.

...Путь навстречу Солнцу показался мне куда короче, чем тот, по которому меня, пленённого, везли в Рим. Может быть, потому, что теперь я не был закованным в цепи и находился не в тёмном, пахнущем крысами и нечистотами трюме галеры, а ехал на двуколке в обозе растянувшегося на многие лиги римского войска.

Я мог видеть всё, что меня окружает, и это вызвало во мне смешанные чувства: восхищения и осознания подлинного величия и могущества государства моих врагов.

Все дороги ведут в Рим. Но сеть дорог не только вела в Вечный город, но и расходилась от него по всей Италии и далеко за её пределы – по завоёванным провинциям. Римские дороги строились добротнo, со знанием дела: покатыe, вымощенные круглым, крупным булыжником, они имели парапеты и каналы для стоков дождевой воды. Вдоль обочин высились милевые вехи – цилиндрические каменные столбы чуть выше человеческого роста с выбитыми на них именами строителей и расстоянием до ближайшего города. По мере удаления от столицы дороги хотя и становились уже, но даже самая заурядная из них имела ширину не менее двенадцати-пятнадцати локтей, что позволяло свободно и, главное, быстро двигаться по ней римским когортам, всадникам и военным колесницам.

Арочные мосты и тоннели, пробитые в скалах, многоступенчатые акведуки по обеим сторонам, постоянные дворы, кузницы, конюшни для смены лошадей... Всё это действовало безотказно, как единый механизм: пылали горны, звучали удары молотов о наковальни, дымили харчевни, ржали лошади, обгоняя войско, скакали гонцы...

Поневоле приходили в голову сравнения: в Парфии и в Сирии таких качественных дорог видеть мне не доводилось... И ещё одно странное чувство гнезилось во мне. Я всё чаще ловил себя на мысли, что уже не воспринимаю увиденное как нечто инородное, враждебное. Наверное, я уже стал частью Рима, хотя до сих пор не решался в этом себе признаться...

Легионы Августа скорым, походным шагом прошли на север Италии, передвигаясь сначала по Фламиевой дороге, где свернули на восток, на дорогу, которую, если верить надписи на милевом столбе, полтора века назад построил проконсул Гай Эгнатий.

Эгнатиева дорога предназначалась для связи с восточными провинциями и вела через Илирик, Македонию, Фракию до города Византия, что стоит у проливов, соединяющих Понт Эвксинский с Эгейским морем.

Трудно описать горные красоты, окружавшие нас в пути. Снежные вершины, чистые горные реки и водопады, долины, поросшие зелёным кустарником и масленичными деревьями...

И всё-таки не эти красоты врезались мне в память.

Во время перехода через Македонию случились два события, наполненные скорее мистическим, нежели реальным содержанием.

В Илирии, близ Патавия, Тиберий, взяв меня с собой как знатока греческого, посетил оракул Гериона и приказал тамошним жрецам вынуть для него жребий. По жребию Тиберию выпало бросить в источник Апон золотые игральные кости, число очков которых будет говорить о будущей судьбе Тиберия. Кости показали наибольшее число из возможных. Оракул объявил, а я перевёл его слова, что Тиберия ждёт блестящее будущее и верховная власть в Риме.

Ещё одно предзнаменование случилось близ Филипп – на алтарях, поставленных когда-то победоносным Цезарем, неожиданно вспыхнуло пламя именно в тот момент, когда мы с Тиберием проезжали мимо. И это тоже было расценено как свидетельство скорого возвышения Тиберия.

Конечно, обо всём этом немедленно донесли Августу. Он, по словам Талла, возглавлявшего походную канцелярию, не сумел скрыть своё раздражение и недовольство, посчитав все подобные прогнозы злостным потворством неумным властным амбициям пасынка.

На ближайшей стоянке, поздней ночью, когда шум в лагере уже стих, меня вызвали в палатку Тиберия.

У входа стояли хорошо знакомые мне легионеры из личной охраны принцепса. Это свидетельствовало о том, что и Август находится здесь.

Я откинул полог и вошел.

Август и Тиберий сидели на низких походных креслах у такого же низкого стола, уставленного дорожной снедью.

В ответ на моё приветствие Август поставил на стол кубок с вином и устремил на меня пронизательный взор.

– Что ты слышал о Спасителе человечества, учитель? – назвал меня так, будто я продолжаю учить его детей.

Я перевёл взгляд на Тиберия, словно он мог подсказать мне верный ответ. Тиберий сидел со свойственным ему мрачным выражением, мерно жевал кусок мяса. Он даже не взглянул на меня.

Август терпеливо ждал.

– Цезарь, ещё за полвека до падения Трои эритрейская сивилла Самия предсказала появление Спасителя... – нашёл я нужные слова. – Она утверждала, что это будет сын бога, рождённый земной женщиной-девственницей...

Август едва заметно улыбнулся:

– Ты же учёный человек. Ответь, когда придёт этот Спаситель?

Я смутился:

– Я – обычный смертный. Что могу сказать тебе о воле богов, богоподобный Цезарь? Я не оракул и не пифия. Даже мудрый Сократ не ответил бы на твой вопрос. Мне же дано знать только то, что я знаю, а посему остаётся смиренно наблюдать за тем, как исполняются пророчества и воля богов...

– Значит, ты не думаешь, что Тиберий – предсказанный Спаситель человечества? – вдруг вонзил в меня острый, как стилет, вопрос Август.

Я оцепенел, боясь проронить хоть слово, ценой которому могла быть моя жизнь.

– Тиберий – мой господин. Это всё, что мне положено знать, – промямлил я.

Август сухо рассмеялся:

– *Credo, quia absurdum est* – верю, потому что нелепо... Мне нравится твоя преданность... – сказал он. – Что ж, если промысел богов тебе не по зубам, учитель, тогда поговорим о земном. Например, о твоём царе Фраате...

– Он не мой царь... – Я тут же прикусил язык – перебивать Цезаря мог только тот, кто не дорожил своей жизнью.

– Итак, поговорим о твоём царе Фраате. Скажи мне, пойдёт ли он на переговоры со мной, зная, что в моих руках его сын и его злейший враг?

– Родство для того, кого ты называешь царём Парфии, ничего не значит, великий Цезарь. Фраат любит только власть. Ради власти он однажды без сожаления убил отца и всех своих родных...

Я мог бы рассказать Августу, что и отец самого Фраата IV – мой повелитель Ород II вступил на трон, не дождавшись естественной кончины своего родителя. Вместе со своим братом Митридатом он тоже совершил отцеубийство и, по сути, тоже являлся узурпатором, хотя это и старательно скрывалось от нас, его подданных... Как именно пришёл к трону почитаемый моим отцом Ород, я узнал совсем недавно из свитка, поступившего в библиотеку Августа. Да, наверное, я должен был сообщить Августу об этом, но промолчал.

Сказал только то, что он хотел услышать:

– Фраат ради сохранения своего владычества пойдёт на любые преступления и подпишет договор даже с самим духом зла Ахриманом, да не будет он помянут ночью...

– Что ж, – удовлетворённо произнёс Август, – значит, Фраат – это как раз тот, с кем можно договориться. Ступай, – отпустил он меня.

Я ещё раз посмотрел на мрачного Тиберия, так за всё время и не проронившего ни слова, и, поклонившись, вышел из палатки.

6

За стремительной горной рекой начинались земли Парфии. Вернее, земли её союзника и сателлита – Армянского царства.

Август разбил свой походный лагерь на берегу.

Римские воины умеют просто и практично обустроить свой быт, возводить полевые укрепления и организовывать внутренний распорядок жизни в них таким образом, чтобы поддерживать постоянную готовность к отражению врага.

Идеально ровные ряды полотняных шатров, обнесённые заострёнными кольями и рвом, занимали всю речную пойму на левом берегу. Между палатками пролегали прямые, посыпанные золотистым песком дорожки. Участок каждого легиона и каждой когорты обозначали вознесённые на шесты золотые орлы и штандарты с нумерацией и эмблемами. В центре огромного лагеря находился форум, подле которого стояли просторные шатры Августа, Тиберия и других военачальников. Они круглосуточно охранялись легионерами. В лагере ежедневно меняли пароль и выставлялись дозоры на дальних подступах, хотя ни одного вражеского отряда поблизости не наблюдалось, а до ближайшего армянского города или крепости оставалось несколько дней пути. Столица Армении – Арташад вообще находилась в двух недельных переходах.

Трудно сказать, почему Август привёл свои войска в эти дикие места, а не направился прямо к Ктесифону, куда первоначально нацеливался.

Я предположил, что, возможно, решение повернуть в армянские земли пришло к нему из-за того, что когда-то именно здесь Марк Антоний потерпел сокрушительное поражение от парфян и победа самого Августа явилась бы ещё одним ударом по уже мёртвому сопернику...

Более прагматичным, конечно, выглядело предположение, что здесь наиболее слабое место парфянской обороны: армянские цари и население, истомившееся под гнётом парфян, окажутся для Фраата ненадёжными союзниками.

Впрочем, подлинные намерения хитроумного Августа не были известны никому, да и все перспективы грядущей кампании оставались пока туманными...

Однажды утром, ещё до звука сигнальной трубы, зовущей к подъёму, я вышел из своей палатки, расположенной в дальней, тыловой части лагеря, рядом с загоном для лошадей и мулов.

Снежные вершины гор опоясывали долину. Они, словно дымками дежурных костров, подёрнулись лёгкими облаками. Эти горы снова, уже в который раз за последние дни напомнили мне время юности. Как живые встали перед глазами мать, братья, учителя... Если переправиться через реку и двинуться на юг, то непременно попадёшь на земли, некогда принадлежавшие моему отцу Сасану, деду Аршаку, прадеду Приопату – всем пращурам, чьи славные имена хранились в летописи нашего рода до тех пор, пока узурпатор не отнял всё: власть, земли и саму жизнь...

«Кто теперь хозяйничает в нашем дворце, сохранились от него хотя бы стены?»

Мои печальные размышления прервал легионер, принёсший приказ немедленно прибыть к Тиберию.

Он встретил меня у входа в шатёр, окружённый легионерами:

– Ты умеешь держаться верхом, учитель?

– Умею, Тиберий...

– Поедешь со мной... В разведку... – И повелел: – Дайте ему коня!

Мне достался пегий, крупный жеребец галльской породы, мосластый и, очевидно, выносливый. Почуввав чужого, он тревожно заржал. Но я крепко взял его под уздцы и, хотя много лет не ездил верхом, довольно ловко взобрался на него.

В сопровождении двух десятков всадников мы мелкой рысью выехали за ворота лагеря. И только миновали караульных на валу, как трубачи-буцинаторы протрубили общий подъём.

Около двух миль мы проскакали вдоль реки, не встретив никого, кроме конного патруля. Кавалеристы отсалютовали Тиберию мечами и указали нам место брода.

Поднимая фонтаны холодных брызг, мы переправились через реку. Тиберий, переведя коня на шаг, подозвал меня:

– Где ты научился так управляться с конём?

– В прошлой жизни, Тиберий...

Он одобрительно кивнул и спросил неожиданно:

– Как ты думаешь, для чего он спрашивал о Спасителе?

Я не сразу понял, что Тиберий вспомнил о разговоре с Августом, случившемся в Греции.

Тиберий заговорил, быстро и горячо. Если молчаливые от природы люди начинают говорить о том, что их волнует, то говорят именно так – быстро и горячо:

– Он боится. Да, он боится потерять то, что имеет. Он ведь ходил к сивилле, когда Сенат предложил ему именоваться «сыном бога». Альбуня Тибуртинская явила ему образ женщины, сошедшей с небес с младенцем на руках, сияющим и солнцеликим... И тогда он испугался и отказался от звания, предложенного Сенатом... Понял, что никакой он не сын бога! А теперь видит во мне соперника, претендующего на место Спасителя... А я не устрасился бы именоваться так! – воскликнул он и замолк, сделался мрачнее обычного, как будто разозлился на себя за этот внезапный приступ откровенности.

Он погнал коня вперёд. Мы устремились за ним по речной долине, пока горы впереди не раздвинулись, открывая нашим взорам довольно обширное плато, поросшее редкими дубами и можжевельником.

На краю плато мы остановились, всматриваясь в даль.

Неожиданно впереди из зелёной рощи на открытое место выехало несколько конников. До них было довольно далеко. И мне пришлось напрячь ослабевшее от работы над рукописями зрение, чтобы разглядеть их. Я узнал кафтаны и алаксериды – широкие штаны, подвязанные у щиколоток. Эти одеяния, так же как налобные повязки, достались парфянам от прапредков – скифов. Армяне одеваются иначе. Вне всякого сомнения, перед нами – парфянские воины.

Они тем временем также напряжённо вглядывались в нашу сторону.

Тиберий вынул из ножен короткий меч и приказал:

– Вперёд!

Мы помчались. Парфяне стали разворачивать своих коней и пустились наутёк.

Это подзадорило Тиберия и его кавалеристов, столь же молодых и неопытных, как их предводитель.

Зная тактику моих соотечественников, я уже не сомневался, что впереди западня. Знакомый с юности манёвр – знаменитый парфянский выстрел, вот-вот должны были продемонстрировать искушённые в сражениях парфяне. Я зримо представил, как на всём скаку они вот-вот обернутся и выпустят в Тиберия свои смертоносные стрелы.

Мне вспомнилось вдруг, как однажды во время урока разразилась жуткая гроза. Тиберий в страхе бросился ко мне, уткнулся лицом в живот, зажав уши руками. Я обнял его дрожащего, крепко прижал к себе. Но он успокоился только тогда, когда Юпитер перестал метать громы и молнии...

Желание защитить, спасти его всколыхнулось во мне. Единственное, что я мог сделать сейчас, – попробовать уберечь его от парфянского выстрела...

Я резко ткнул калигами в бока жеребца. Увы, это был не Тарлан! Как я ни взбадривал его, он не мог скакать быстрее...

Тогда, не помня себя, я выхватил из сумки отточенное стило и безжалостно вонзил в круп скакуна. От боли он рванулся вперёд, в несколько огромных скачков догнал коня Тиберия и пошёл с ним бок о бок.

Тиберий бросил на меня сердитый взгляд. Он и здесь хотел быть только первым!

И в этот момент ближний от нас парфянский воин, обернувшись, натянул тетиву своего лука с наострénной стрелой.

Отчаянно вогнав обломок стила в тело жеребца, я рывком направил его наперерез стреле, пущенной в Тиберия.

Я ещё успел разглядеть светлоглазое, перекошенное ненавистью лицо парфянина, когда хлёткий удар в грудь сбил меня с коня.

Глава четвёртая

1

Я – Кердан Тиберий, вольноотпущенник великого понтифика, многократного консула и трибуна Тиберия Клавдия Нерона, зятя могущественного и богоподобного Цезаря Августа и несчастного мужа его единственной дочери Юлии, которая своей скандальной славой затмила не только воспетую Горацием порочную Лидию, красавицу римского полусвета, но и «всеобщую подругу» и «наглую распутницу» Клодию, чей бесстыдный образ под именем Лесбии увековечил Катулл.

По числу диких слухов о любовных похождениях и оргиях любой обитательнице лупанария трудно соперничать с Юлией. Впрочем, прав Публилий Сир: злой язык – признак злого сердца. А у меня нет на сердце зла по отношению к той, кого помню я беспечным и смешливым ребёнком, угловатой девочкой-подростком, впечатлительной, хрупкой девушкой, одарённой быстрым умом и способностями к наукам.

Да и кто я такой, чтобы судить дочь Цезаря? Кто я такой, чтобы осуждать любую, пускай и самую падшую из женщин, обитающую в самом ничтожнейшем из притонов?

Я – раб, освобождённый волею Тиберия и обязанный теперь до конца своих дней благодарить его за это, вечный клиент, не имеющий ни подлинного гражданства, ни родины. Римское гражданство мне не положено как вольноотпущеннику из числа военнопленных, а Рим так и не стал для меня второй родиной, хотя много лет я мечтал, что однажды это случится.

Только теперь, когда волосы на висках стали белее, чем ослепительный каррарский мрамор, а на затылке изрядно поредели, сделав меня похожим на Агазона, пришло ко мне запоздалое понимание, что родина у каждого человека одна, как мать...

Мать, равно как и родину, у меня отняли более тридцати пяти лет назад. В ту пору я был готов умереть за своё отечество, отдать ему кровь до последней капли...

Но боги, действуя по своим, высшим рассуждениям, обрекли меня на дальнейшую жизнь.

Смерть караулила, но упустила меня, восемнадцатилетнего, в сражениях с римлянами. Она проявила неожиданное милосердие на мельнице Публия Вентидия Басса, не дав мне погибнуть от плетей и голода.

Я не должен был выжить после попадания в грудь стрелы, выпущенной в Тиберия. Семь дней пребывал между небом и землёй после смертельного ранения...

Лихорадка чуть не отправила меня к праотцам на обратной дороге в Рим.

Но я не умер, выжил вопреки судьбе и мрачным лекарским прогнозам, чтобы Тиберий даровал мне свободу, о которой я так долго мечтал.

Призрачная свобода вольноотпущенника поначалу опьянила новыми надеждами, но ничего не изменила в моей жизни...

Я продолжил работу в библиотеке Августа, но, коль скоро теперь мне пришлось самому заботиться о пропитании и быте, начал давать уроки риторики и греческой грамматики в школе у римского всадника Луция Аннея Сенеки Старшего.

Небольшое жалованье и мои незначительные потребности позволили скопить кое-какие средства. Спустя пять лет я приобрёл дом. Скромный, одноэтажный, он располагался на углу одной из улочек в плебейском Авентине. Я полюбил свой дом искренне, как любит дитя новую игрушку. Полюбил, забыв советы мудрых стоиков – не привязываться к земному, не дорожить бrenным...

За последующие два десятилетия случилось многое.

Август и Тиберий возвратились из восточного похода с победой. Они вернули в Рим штандарты Красса, смыв позор давнего поражения в битве при Каррах. Там, полвека назад, парфянский полководец Сурена Михран наголову разбил сорокатысячный римский корпус, а самого Красса пленил и жестоко казнил, залив в глотку расплавленное золото.

Особый восторг у плебса и аристократов вызвало то, что Цезарю удалось заключить мир с парфянами и решить все восточные проблемы, не проведя ни единого крупного сражения.

Август умело сыграл на противоречиях в стане врагов. Он посадил на армянский трон царя, нужного армянам, совсем ненужного парфянам и очень удобного для Рима. Лишившись армянского союзника, Фраат IV вынужден был заключить с римлянами мир.

Этому способствовала ещё одна хитроумная комбинация Августа. Он вернул узурпатору Фраату сына, похищенного Тиридадом, и подарил в обмен на штандарты Красса итальяскую красавицу рабыню по имени Муза.

Эта рабыня сумела стать любимой наложницей царя, а затем его законной женой и матерью нового наследника. Она сообщала Августу обо всём, что творится во дворце Фраата, и приложила немалые усилия, чтобы добиться от него лояльного отношения к римлянам. Муза сумела убедить Фраата отправить в Рим на обучение его детей от прошлых браков, и теперь парфянские царевицы – почётные заложники у Августа.

Вскоре Муза отравила своего царственного мужа и возвела на трон под именем Фраата V их малолетнего сына, став при нём соправительницей.

Вот так бесславно закончил свой век мой злейший враг – узурпатор Фраат. Он издох, как собака, съевшая отравленное мясо. И хотя это случилось без моего личного участия, я испытал радость в тот миг, когда узнал о его кончине. Месть богов свершилась в точном соответствии с восточной мудростью, утверждающей, что сидящий на берегу реки и глядящий на воду однажды увидит, как мимо по течению проплывёт труп его врага...

Однако после перемирия с Парфией число врагов у римлян не уменьшилось. Мой патрон Тиберий, вернувшись с Востока, получил пост претора и отправился со своими легионами к границам с Галией.

Туда же последовал и его младший брат Друз – вечный любимчик Августа. Желая оправдать доверие Цезаря, он стал храбрым и удачливым полководцем.

Оба брата провели блестящие кампании. Друз одолел галлов в Нарбоннской Галлии. Тиберий в Трансальпийской области покорил несколько местных племён и достиг истоков Дуная, очертив тем самым новые рубежи римской ойкумены.

После их совместного триумфа Тиберий ещё не раз покидал Рим, сражаясь в различных областях Германии, где основал новую провинцию Паннонию. Теперь в Риме он появлялся только изредка и по важному поводу. То для принятия консульской власти, разделяемой им с Павлом Квинтилем, то в связи с необходимостью участия в похоронах тестя, то для развода с любимой женой Випсанией – дочерью Агриппы и женитьбой на дочери Августа Юлии...

Я с ним за эти годы ни разу не встречался.

Все подробности о жизни своего патрона узнавал от римских глашатаев да от Талла. Он, по старому знакомству, заглядывал ко мне в библиотеку, рассказывал новости, хвастался очередным подарком от Цезаря, полученным за безупречную преданность.

Однажды у нас зашёл разговор о Тиберии, и Талл открыл, что послужило причиной столь скорой свадьбы Тиберия и Юлии.

После смерти верного Агриппы Августу потребовался новый зять и сторонник, на которого он мог бы рассчитывать в трудных обстоятельствах. А Юлия возжелала законного супруга, для зачатия новых наследников Цезаря...

Впервые за долгие годы Август обратил свой взор на Тиберия как на своего вероятного преемника. Конечно, к этому приложила руку Ливия, всегда хлопотавшая за старшего сына. Но на этот раз её хлопоты обернулись для Тиберия бедой. Август заставил его развестись с

любимой женой Випсанией Агриппой, которая в этот момент ждала второго ребёнка, и обязал его жениться на своей взбалмошной дочери.

Тиберий тяжело переживал свой неожиданный развод. Он очень злился на Юлию, считая её главной виновницей его бед. Тем не менее послушаться Августа он не решился, и брак с Юлией заключил.

Однако после свадьбы Тиберий продолжал тайно встречаться с бывшей женой и детьми, и этим вызвал гнев у Цезаря. Ни в чём не повинной Випсании предписали навсегда покинуть Рим и отправиться в ссылку.

Юлия с Тиберием совсем недолго прожили вместе. Их на какое-то время сблизило рождение сына. Но он умер в самом раннем возрасте. С той поры супруги перестали жить под одной крышей.

Тиберий по-прежнему предпочитал проводить время в походах, куда он, в отличие от Агриппы, никогда не брал с собой Юлию.

А когда через четыре года в стычке с германцами погиб Друз, Тиберий и вовсе перестал появляться в столице.

Август вновь охладил к Тиберию и переключил внимание на сыновей Юлии от Агриппы. Он усыновил их под именами Гай Юлий Випсаниан и Луций Юлий Випсаниан и публично объявил своими наследниками, а Юлию отстранил от воспитания детей, считая её поведение не лучшим примером.

Она же пустилась во все тяжкие прегрешения: кутила, развлекалась и, не стыдясь общественного мнения, изменяла Тиберию то с одним, то с другим аристократом. Впрочем, злые языки утверждали, что Юлия не брезговала и любовниками из низших сословий и даже посещала лупанарии для рабов.

Когда это стало известно Тиберию, он, не желая терпеть позора, в 747 году от основания Рима удалился в добровольную ссылку на остров Родос.

А вскоре после этого произошли события, разом перевернувшие размеренный уклад моей жизни.

О, Парки, зачем вы так запутали путеводную нить моей судьбы? Зачем переплели её с судьбами сильных мира сего? Неужели я дожил до этого дня только для того, чтобы убедиться в бессилии обычного человека перед волей богов и их земных ставленников?

2

День основания Рима традиционно совпал с апрельскими Парилиями – чествованием пастухов и пастушек и покровительствующей им богини Палес. Он пользовался у римлян особой любовью.

В год тринадцатого консульства Цезаря Августа этот праздник проводился особенно торжественно.

С раннего утра улицы и площади Рима заполнились разношерстной гомонящей толпой, где смешались патриции и простолюдины, обитатели городских кварталов, рабы, вольноотпущенники, гетеры и приехавшие поглазеть на празднество жители окрестных поселений.

Яркими пятнами то тут, то там мелькали разноцветные женские одежды: алые и голубые, золотистые и розовые столы, палы и туники. Сегодня их поспешили надеть обычные римские модницы, которым всё это многоцветие разрешалось носить только в дни праздников Виналии Приория. В иные дни уделом матрон-патрицианок и дочерей приличных всаднических семейств оставались неброские одежды, а цветные наряды могли носить одни только обитательницы лупанариев.

Но желание привлекать к себе внимание ежегодно оказывалось сильнее закона о нравственности и благопристойности одежд, принятого Сенатом и утверждённого Цезарем ещё

шестнадцать вёсен назад. Призванные следить за его соблюдением, особые отряды вигилов и преторианцев в честь дня основания Рима закрывали на эти нарушения глаза.

На рыночной площади беднякам раздавали хлеб. В городских цирках начались первые зрелища – соревнования атлетов и гладиаторские бои. Многие молодые горожане и приезжие поспешили ринуться туда и занять лучшие места на залитых ярким солнцем трибунах, дабы, глядя на всё сверху, будоражить нервы видом пролитой крови, наслаждаться иллюзорным правом решать участь побеждённых и иступлённо вопить: «Аве, Цезарь!»

Но старожилы Рима отдавали предпочтение другому зрелищу, которое традиционно в этот день проходило за воротами города.

Туда поспешил и я, хотя обычно сторонился публичных празднеств, предпочитая им затворничество и пищу духовную. Однако на этот раз некая неведомая сила помимо моей воли повлекла меня вслед за римскими обывателями.

За Лавернскими воротами, выходящими к роще, где находилось святилище богини Лаверны – покровительницы воров и обманщиков, толпа горожан притиснула меня к Сервиевой стене.

Эта стена – первая каменная твердыня, построенная в далёкой древности, сполна испытала на себе разрушительную силу времени и непогоды. Трещины и выбоины на ней многократно заделывались смесью песка и глины, а кое-где от стены просто ничего не осталось, кроме высокого земляного вала.

Тем не менее Сервиева стена всё ещё сохраняла не только историческое значение, но и служила естественной границей между центральными кварталами города и его пригородами.

К шестнадцати воротам, пробитым в Сервиевой стене – Колинским, Эсквилинским, Невиевым, Капенским, Дубовым, Тройным, Приречным, Целимонтанским, Виминаским, Карментским, Соляным и всем прочим, стекались, согласно римской поговорке, все дороги мира, а в день основания Рима сама стена и ворота в ней становились полноправными участниками праздничного действа.

Церемония, символизируя верность идеалам предков, являлась точным, до мелочей, повторением обряда, проведённого Ромулом 751 год тому назад.

По легенде именно основатель Рима пропахал охранную борозду вокруг первого поселения, наметив тем самым его границы. В центре очерченного круга он возжёт алтарь, обозначающий домашний очаг и нерушимость устоев Рима.

И теперь каждый год, слава отца-основателя, жители в своих домах возжигают очаги, подле которых они хранят лары и чествуют богов – покровителей своих пенат.

На том месте, где прошёл с плугом Ромул, римляне впоследствии возвели Сервиеву стену, а ежегодное проведение борозды, защищающей Вечный город, с момента его основания остаётся кульминацией праздника.

Напряжение в толпе всё нарастало. Люди переминались с ноги на ногу и переговаривались, нетерпеливо всматриваясь в сторону Раудускуланских ворот.

Вдруг вдалеке зазвучали трубы. Волнение передалось всей толпе. Она загудела, рванулась вперёд и тут же попятилась, теснимая вигилами и их добровольными помощниками.

Подпираемый соседями, я неожиданно оказался в первых рядах, откуда мог хорошо видеть всё происходящее.

Торжественная процессия приближалась к нам.

Впереди в белых, как первый снег, одеяниях шествовали авгуры и весталки. Они размахивали зелёными лавровыми ветками и стройным многоголосием пели гимны богине Палес.

Вслед за ними, тяжело переставляя могучие ноги, выступали белый бык и такая же белая, без единого чёрного пятнышка корова, волочащие за собой огромный медный плуг. Его рукояти сжимал префект претория Публий Сальвий Апер в жреческой тоге и с белым покрывалом на голове.

В толпе стали перешёптываться: обычно право проведения священной борозды принадлежало только префекту города. По крайней мере, бывший префект Тит Статилий Тавр никому и никогда не уступал эту почётную миссию. Но Тавр ушёл на покой, и должность городского префекта пустовала.

Управление городскими нуждами временно исполняли разные субпрефекты. Цезарь Август возложил на себя обязанности префекта анноны, никому не доверяя водоснабжение Рима. Появилась новая должность – префект претория, которому надлежало следить за порядком в городе, обуздывать рабов и утихомиривать мятежников.

Однако Август, будучи предельно осторожным и подозрительным, не рискнул доверить столь важный пост одному человеку и разделил его между упомянутым Публием Сальвием Апером и Квинтом Асторией Скапуллой. Эти выходцы из всаднического сословия теперь соревновались друг с другом в преданности Цезарю, а заодно и в доносительстве один на другого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.